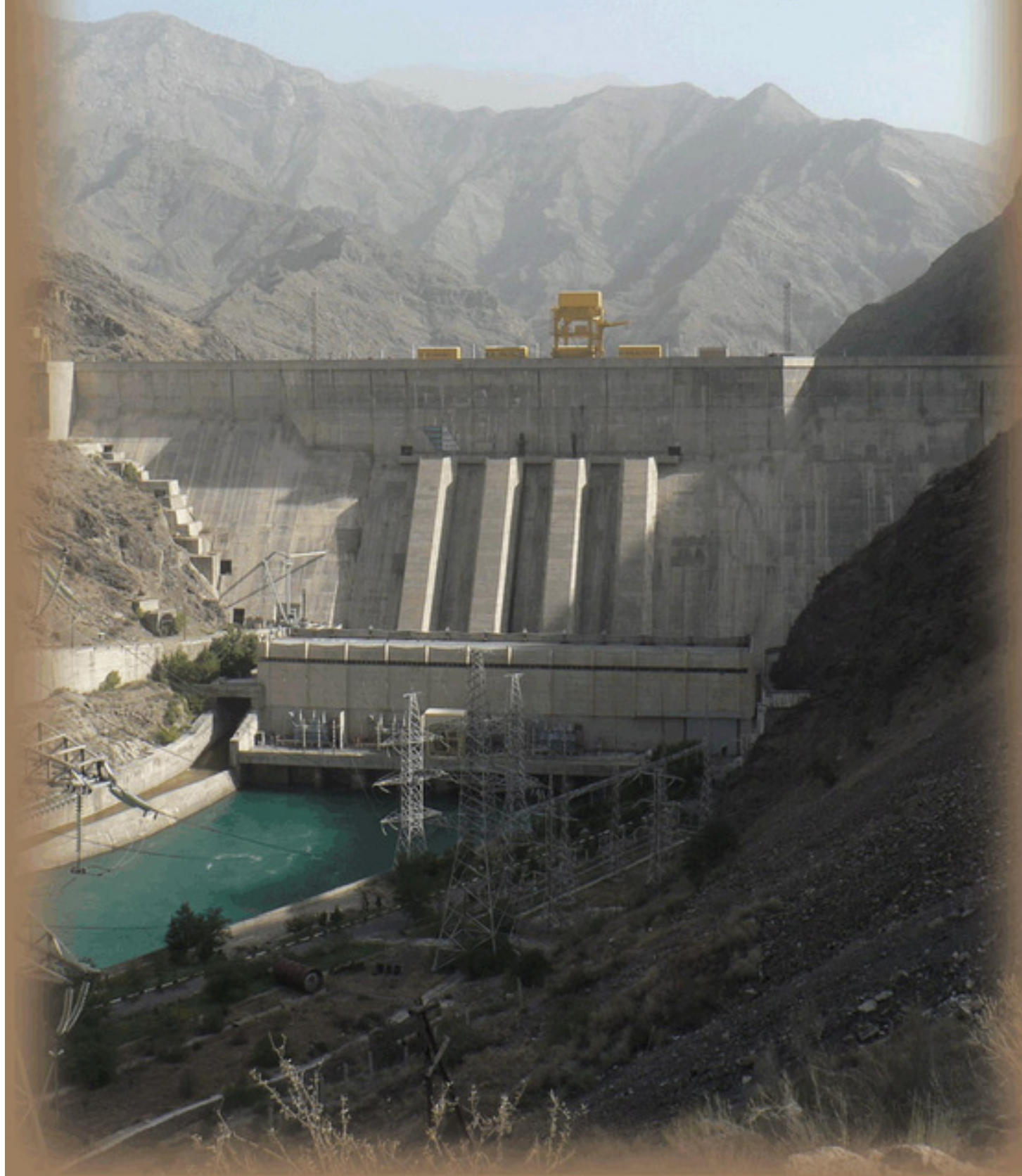


Лариса Боброва

САГА о стройбате империи



Лариса Боброва

Сага о стройбате империи

«ИТРК»

1994

Боброва Л. В.

Сага о стройбате империи / Л. В. Боброва — «ИТРК», 1994

В романе повествуется о строительстве одной из среднеазиатских ГЭС – об экстремальной ситуации, вызванной засухой и приведшей к правительственному решению о взрыве почти достроенного сооружения ГЭС, чтобы спустить воду из водохранилища для орошения гибнущих хлопковых полей, о людях стройки и их взаимоотношениях. Автор, Боброва Лариса Владимировна, работала на строительстве Нурекской, Токтогульской ГЭС, на киностудии «Киргизфильм», в журналах «Студенческий меридиан», «Вокруг света», «Крестьянка». Закончила Литературный институт им. Горького.

© Боброва Л. В., 1994

© ИТРК, 1994

Содержание

Часть первая	6
1. География	6
2. Начальник, его главный инженер и прочая рать	13
3. Судьба – не судьба, её приметы или их отсутствие. Судьба – это работа	19
4. Откуда берутся счастливые приметы	23
5. Давай вернёмся на семь лет назад	28
6. Котомин – ныне главный взрывник и постыдные фейерверки молодости	32
7.[5] Пётр Савельевич Шепитько, зам. начальника по быту, он же – «мэр города», он же – «пионер Петя»	36
8. Саня Птицын во всей своей красе	38
9. Естественные озера и плотины	42
10. Экскурсия на плотину и посиделки в Бастилии	47
11. Кетмень-Тюбе и первый разговор с Терехом	51
12. Смотреть в глаза!	55
13. Бреши в настоящем заполняются прошлым	60
14. Веберы	65
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Лариса Боброва
Сага о стройбате империи

© Л. В. Боброва, 2013

© Издательство ИТРК, 2013

Часть первая

Обетованная земля

...Ибо Властитель вселенной и создатель земли и небес с Его совершенным могуществом и всё заключающей в себе мудростью воздвиг в той стране такие горы, что каждая из их вершин вздымается в небесную высь вровень с орбитами созвездий Плеяд и Девы. И узенькая тропинка там вьётся, подобно смиренному вздоху молящегося, что доходит до самого купола небосвода. И если какое войско пойдёт, одного камня достаточно для его отражения. И в весенние эти негодяи опасны как хищные волки и яростные львы.

Шах-Наме (Тарих и Омар-хани) мирзы Каландара, муштрифа Исфараги

1. География

Действительно – горы, достигающие купола небосвода, даже через годы, уже на равнине, будет сниться этот хребет за спиной, отделивший полмироздания. И подняв лицо к небу, ты видишь его вершины, не оборачиваясь...

Слово Тянь-Шань – знакомое с детства, его звон – округлый, не подходящий в название горам, скорее, – какой-то сфере, звонкому своду. Потом второй пласт его звучания – ну да, Китай, (только подумать – Китай!) китайское слово Тянь-Шань и означает «Небесные горы».

Острота одного московского знакомого – «Всё, что дальше Наро-Фоминска – Тянь-Шань!» То есть Тмутаракань, край света. Наро-Фоминск как горизонт, дальше – обвал, дикость.

Но это как посмотреть.

Просто другой мир. Яростно и оглушительно – другой!

Всё это было давно.

Да, дикий. Голые обожжённые скалы, кое-где тронутые растительной жизнью, упорной как нигде, стремительная и яростная река – эта дикая вода – река? Это потом, гораздо ниже, после слияния со всеми притоками, будет Сыр-Дарья, а тут ещё Нарын – стремительная, густо замешенная на иле вода цвета охры, цвета угрозы и гибели. Живая, тяжёлая, именно потому что тяжёлая и стремительная – уже как бы и не вода, а что-то живое, грохочущее курьерским поездом со скоростью восемь метров в секунду... Сколько же это в час?

В общем, немного...

Толпящиеся над обрывом скалы можно рассматривать бесконечно, и если движешься по дороге над грохочущей рекой, перемещаются и скалы, группируются, сходятся, расходятся – у них идет своя жизнь, отдельная, непонятная и непонятно глядящая темным наклонившимся ликом, угадываемым и уже неотвязно глядящим. И никак не избавиться от впечатления чего-то громоздко разумного и связанного, запелёнутого, заключённого в такой вот форме. «Вечная мука материи», ранее казавшаяся словесной фигурой и философской категорией – вот она, воплощённая, желающая осуществиться и выразиться...

Через три километра, пять, оглянешься – всё так же глядит в твою сторону отмеченный ранее взгляд. Но сама эта глыба, гора, это не знамо что – переместилась, подошла ближе к нескольким своим подобиям, и теперь они уже каменной бабьей группой глядят тебе вслед. И все сто километров эти передвижения, перебежания, так, и не такуже – перегруппирова-

лись, передвинулись каменные громады, сменили выражение от смены света и тени. Небольшой подъём, поворот, и та же глыба опять подошла к краю обрыва – одна, и стоит, глядит...

Подвесной мост, построенный в сорок седьмом году, о чём сообщает табличка, приваренная к одной из несущих стоек, раскачивается и скрипит, проседая, пружиня под тяжестью машины. Зачем он здесь, этот мост, среди муки каменной жизни, на осыпающейся дороге, пустой совершенно и как бы навсегда? Зачем эта дорога над пропастью с грохочущей, судорожно бьющейся внизу рекой, масляно отблескивающей на складках, гребнях и как бы втягивающей воздух стоячими воронками водоворотов, стоящими на одном месте, а значит, для чего-то нужными, вроде органов дыхания?

Перекинувшись на левый берег, дорога круто берет вверх, а на правом – на участке, видимо, совершенно заброшенном после создания моста, как раз идёт какая-то жизнь, ползают неслышимые за шумом реки бульдозеры, разгребая образовавшиеся за пятнадцать лет завалы сыпучки, а чуть дальше – вдруг взметнётся веер взрыва, с опозданием дойдёт его грохот...

Левобережная же дорога все отдаляется и отдаляется от края пропасти и летящей навстречу реки, поднимается выше, и уже виден водопад левобережного притока, скачущего по циклопическим обломкам скал к уже невидимому Нарыну. Машина гудит на многовитковом серпантине и, наконец, переваливает через отрог, а за следующим – угадывается пространство долины – слишком уж удалены за ним хребты, высинены, погружены в толщу воздуха. И действительно, долина, зелёная чаша с петляющей вместе с зарослями облепихи светлой прозрачной рекой. И там, вдали, в самом конце долины (или начале?) видно, как сливаются три водотока, собравшие воду с окрестных хребтов и распадков.

Обращенный к солнцу хребет, отделивший от Нарына эту долину полутора тысячеметровой стеной, льет на неё дополнительный, отраженный медовый свет, и почти опрокинут в её сторону, так что сыплется и сыплется каменная труха и щебёнка, стекает каменными ручьями из всех щелей и разломов, собираясь в конусообразные выносы у подножия хребта. А противоположный склон, сложенный из багряно-красных алевролитов, ступенчато поднимается просторными, покрытыми яркой зеленью террасами, за которыми уже вздымаются серо-голубые хребты, голые, с убелёнными снегом вершинами, один за другим уходящие в воздух, в даль, и растворяющиеся в них.

Дорога рассекает долину вдоль по третьей от реки террасе высокой основательной насыпью, вызывающей оторопь именно своей высотой и основательностью, неужели пойму затапливает метров этак на сорок? Чего никак уж не может быть. Фантастическая же дорога в пустом необжитом месте уходит дальше – в распадок, снова сужающийся в ущелье, чтобы через двадцать два километра опять ползть на перевал и перемахнуть, наконец, в Кетмень-Тюбинскую котловину, заслоненную горами от всего остального мира и многие века недоступную завоевателям. Но это гораздо дальше, а здесь впечатление необжитости, слегка покачнувшееся от вида встречной машины, старенькой и расхлябанной, и груженной всяким скарбом, это впечатление вдруг рухнет перед чудом арыка, опоясавшего красную гору и полого, почти незаметно спускающегося к кибиткам, сложенным чабанами из собранных вокруг камней – красное на красном – и обсаженными невысокими гранатовыми деревьями с темной глянцевицей зеленью.

Постепенно из множества картин выстроится впечатление веками устоявшегося уклада, годового цикла жизни, текущей здесь размеренно и закономерно-естественно. По этой пустой дороге раз ли два в день проволочёт за собой шлейф пыли машина, груженная бидонами или лошадьми, или высоким плотно увязанным тюком шерсти, а в положенное время осени повалят вниз, в долину, овечьи стада, сбитые в плотную текучую массу, в которой будет вязнуть любой транспорт. На ста километрах дороги увязнешь не раз и не два на дню, и в конце концов удивишься, сколько же их там, вверху? Сидя в машине, прижатой к скалам плотной массой бляющей плоти, вокруг которой мечутся огромные лохматые собаки с обрезанными ушами,

с хрипатою яростью догоняя то одну, то другую заблудшую овцу и прихватывая их зубами за пыльные бока, пока не прогарцуют на лошадях улыбочиво-невозмутимые чабаны...

Потом этот обвал скота все-таки иссякнет, первый снег выбелит горы, ещё тёплое солнце лизнет их бока, и ближние склоны окажутся полосатыми – задержавшийся снег отметит на них все тропы, выбитые животными за века.

Строители, вторгшиеся в долину левобережного притока, собирались запереть плотиной ущелье великой реки и пустить в дело её энергию, пропадающую здесь втуне. А заодно обеспечить многолетнее регулирование стока реки – удержать весенние паводки, что замывают хлопковые поля, скручивают в узлы рельсы железных дорог, сносят саманные дома, людей и животных внизу, в Ферганской долине. И припасти воду на засушливые времена, когда вокруг её распределения разгораются страсти, часть урожая гибнет на корню, а лежащей ниже Голодной степи воды и вовсе не достается.

Местное население отнесётся к этому спокойно и почти доброжелательно. Может, приывкнув не к сиюминутному, часовому или даже суточному измерению времени, а к измерению его годами и их двенадцатилетними циклами высоких и низких паводков, к счёту на поколения, оно восприняло этот возникший в одно лето развал и размах как нечто временное, что через какой-то промежуток должно уложиться, устояться и пребывать далее в каком-то новом качестве. Тем более что в «Манасе», его древнем богатырском эпосе, была и такая страница, где Батыр уже брался перекрывать великую реку. Ковырнул гору кетменём, оторвал её часть и кинул на середину реки. Но что-то отвлекло его, помешав довести замысел до конца. И скала торчит из воды, разламывая реку надвое перед самым ущельем, по которому Нарын выносит свои воды из Кетмень-Тюбинской котловины в Ферганскую долину.

* * *

К тому времени, когда пришлый молодой народ изумится столь удивительно правильной полосатости ближних склонов, почвенный слой уже будет сорван, клонящиеся к реке террасы выутюжены до строгой горизонтальности для удобства возведения фундаментов и всего нулевого цикла, а сами строители станут тонуть в красной, плывущей от дождей глине, теряя на ходу сапоги.

Вся щебёнка из ближних карьеров пойдет в отсыпку: террасы выровняются, устоят, начнут понемногу обрастать домами. Потом придет зима – снежная, метельная, с резкими перепадами дневной и ночной температур, высокая насыпь дороги окажется вровень с засыпанной снегом третьей террасой.

Первые три года строители (начальнику нет и пятидесяти, главному инженеру тридцать пять, а средний возраст взрослого населения – 23,7 года) будут торопливо и нерасчетливо тратить молодые силы на обустройство жизни и возведение производственных баз, чтобы запереть плотиной ущелье реки, предварительно загнав её в пробиваемый в правом склоне строительный туннель. Три года они будут долбить этот самый туннель в скальном монолите и одновременно расширять старую дорогу, ведущую к створу¹ будущей плотины.

Старая дорога была кое-как обихожена до ближайшего за намеченным створом правобережного притока Токтобека, в неширокой долине которого с незапамятных времен (не с раскола ли?) поселились русские старообрядцы. И где сейчас ещё доживает свой век семья стариков, которых по праздникам навещают разлетевшиеся во все стороны дети и внуки. А далее дорога по ущелью и впрямь заброшена – не дорога – фрагменты её, перекрытые голубовато-серыми осыпями, стекающими до самой воды. А люди, что живут здесь или отгоняют

¹ *Створ* – створки, затворять – осевая плоскость плотины или любого другого сооружения, требующего строгого соблюдения направления; также и место, где затворяет реку, и котлован, и все службы, словом, створ – это сама стройка.

на лето скот в эти места, предпочитают попадать в Кетмень-Тюбинскую котловину и расположенный в ней старинный кишлак Музтор долиной Токтобека, Токтобек-саем. Сай – это и есть неширокая долина, распадок, разлом. Здесь он пологий, уютный, с ореховыми рощицами, тянущимися до самого перевала, до водораздела с другим притоком, бегущим такой же пологой и уютной долиной до самой котловины...

К весне дорога строительства будет пробита и расширена вчерне; рядом с подвесным мостом, чуть выше и параллельно ему взметнется ажурная арка нового моста, и уже по нему потекут вверх бесконечные, отощавшие за зиму и как бы ещё не проснувшиеся стада. Посёлок строителей лишит их первого выпаса, и пастухи будут останавливаться здесь разве на ночевку, раскинув палатки в том месте, где сливаются три водотока. Но это первые год-два, но потом и эта стоянка будет каким-то образом исключена – не будет ни стад, ни палаток на зеленой траве, ни костров в вечеряющем свете с вертикально стоящими дымами. Хотя именно середину поймы строители тронут не скоро, и будет стоять там и год, и два, и пять вымахавшая по плечи трава, а зимой золотой дым её сухих обрыжевших соцветий стелиться над засыпавшим пойму снегом...

Только лет через пять или шесть, когда пройдут на летние выпасы стада, вдруг из ничего возникнет там палаточная стоянка цыган; посёлок радостно изумится: надо же, цыгане! Дошли сюда, докатились, отыскали, словно узаконив его существование в мире своими палатками на зеленой траве, телегами, кострами, дымами, скрипкой и бубном, столь отличными от скороговорки комузов, звучавших на прежних стоянках. Пройдя по посёлку и собрав гаданием, плясками детей и просто выклянчив или стребовав как бы положенную дань, цыгане исчезнут, как и появились, каким-то особым цыганским способом – утром пойма будет пуста, словно и не было там ничего и никого ни вечером, ни утром, ни вчера, ни позавчера.

Так вот, строители. Нашествие их в эти места нельзя рассматривать как нашествие Мамаю; это больше похоже на появление в доме сантехника с капитальным ремонтом. Сантехник может быть шумен и нагл, но дальше санузла и кухни его действия не простираются; он может загородить прихожую так, что не пройти, не выйти, но вряд ли вопрётся в спальню – своё место он знает. При благожелательном попустительстве хозяев он может только постоять у порога, калякая о том, о сём, с детским интересом озирая пространство чужой жизни и удивляясь ей, но тут же отступит к санузлу и раковине.

Уродуясь на створе, дробя скалы, утюжа их бульдозерами, ровняя террасы под жилые кварталы и возводя их, этот самый строитель в свои выходные дни будет с любопытством разползаться по окрестностям, собирая из впечатлений жизни и подробностей географии некую цельную картину страны, в кою он вторгся. Он не только выяснит, но своими глазами убедится, что река, в которую впадают две другие, вытекает из озера, образованного перекрывшим долину завалом при землетрясении; что за этим озером есть еще одно, поменьше, отделенное от первого таким же завалом. Что в верховьях второго притока, Каинды, есть довольно обширная долина с берёзовой рощей; что чуть ниже этой рощи, по притоку Каинды, пасут своих лошадей единоличники, так и не вступившие в колхоз «Коминтерн», а «Коминтерн» пасёт за следующим хребтом. Что по Кара-Колу от которого был отведён изумивший их арык, пастбища сдаются в аренду узбекам, и они как истые земледельцы распахивают широкую его излучину под кукурузу (Бог мой, сохой, на верблюде!). И появятся в семейных альбомах фотографии рядом с этим верблюдом и даже верхом на нём, хотя за одним из фотолюбителей этот самый верблюд погонится тяжелой иноходью при попытке сфотографировать его «в лицо». Незадачливый фотограф добежит до скалы, до стенки и вмиг окажется на ней, повторив подвиг не безызвестного отца Федора.

От любопытства и молодых, не истраченных на работу сил, строители пересекут все расположенные здесь по вертикали климатические пояса, доберутся до последних выпасов, озёр, перевалов, до снежных цирков, выпавших сошедшими лавинами, и уставленных оплывшими

бабами «кающихся снегов», увидят, как катится снежная крошка, мгновенно превращаясь в огромный шар, чтобы потом, остановившись под собственной тяжестью оплывать под солнцем в «кающуюся» бабу... Дойдут до самих лавинных ущелий с нависшими козырьками еще не сошедших снегов, услышат гул, торжественный и непонятно от чего исходящий, гул будущих лавин и рождающихся рек. И уйдут, с четко сложившимся пониманием, что это не для людского глаза, святая святых и что это не положено видеть.

Шатаясь по окрестностям и навещая гостеприимных хозяев стоянок, пришлый люд, усвоивший поначалу лишь приветствия и несколько оборотов местной бытовой речи, будет общаться со здешним пожилым населением с помощью молодых, а то и вовсе детей и внуков, уже посещающих школу, а часто – и своих толмачей. Строители – народ многонациональный, и среди них обязательно затесался и киргиз, и узбек, или ни с того ни с сего заговорил рыжий и вполне голубоглазый казанский татарин, перебив сопливого семи-восьмилетнего толмача и вызвав полный восторг стариков вразумительностью своей речи...

С другой стороны, за провиантом и прочим годным в употребление товаром теперь гораздо ближе ездить в посёлок, у магазинов появились коновязи, кое-кто уже катает на луке седла местную ребятню, а почетная делегация аксакалов непременно украшает своим присутствием и живописным видом все этапные строительные праздники...

* * *

Хозяин оказался мудрым – через двадцать лет всё уложилось, устоялось, строители сделали своё дело и отбыли в другие места и выше по течению Нарына, оставив на стокилометровом пространстве ущелья не только ту, первую плотину, но целых три. Роль мостов стали выполнять гребни этих плотин, подпертая ими отстоявшаяся вода цвета глубокой купоросной синевы придала всему пейзажу что-то от лаковых открыток с видами старой горной Европы. Новая дорога, пробитая на уровне гребней этих плотин, петляет с правого берега на левый, вписывается в пейзаж сопряжениями поворотов, словно так было всегда...

А старая, бывшая в девственные времена прогонной тропой, а потом собственно дорогой строительства – мощной, ухоженной, всё ещё идёт по правому берегу, спускается к самой воде, уходит в её синь и даже просматривается там некоторое время, невольно вызывая слабую мысль, что что-то же там есть, если есть дорога, туда ведущая. Или есть кто-то, кому без разницы, в воздушной ли среде передвигаться, в водной ли, потому что дорога снова выныривает из воды, такая добротная, таким цельным серо-стальным асфальтом покрытая, перемахивает через отрог и снова уходит в воду... Появляется и ныряет, и снова появляется, вызывая некоторую оторопь, тем более, что мощные плотины, избавленные от всяческих лесов, покровов, техники и людей, кажутся чем-то циклопическим, требующих сил невиданных, и не теперешними сооружениями, а свидетельствами мощи древних рас или вовсе оставленными внеземной цивилизацией... К тому же вверху, у самого подножия взметнувшегося отвесно хребта и несколько отдельно от поселка, обжитого и заросшего растительностью до бровей, – есть некая площадка, куда никакая растительность не допускается, кроме коротко стриженной травы, да и та кажется искусственного, химически синеватого цвета. Огороженная частой сеткой, покрытой белой фосфоресцирующей краской, площадка разбита на бетонные прямоугольники и квадраты, служащие основаниями для каких-то баков, шпилей, ажурных конструкций и паукообразных, в трубчатом исполнении объёмов и ёмкостей, тоже белых и слегка фосфоресцирующих.

Специалист и даже поверхностный знаток объяснит вам, что здесь энергия реки поднимается до напряжения в пятьсот киловольт, чтобы по вышкам ЛЭП, через долину одного из притоков попасть кружным путем вниз – в долину Ферганскую, и вверх – в Музтор. Что все эти вышки, баки, паукообразные объёмы и ёмкости суть трансформаторы, выключатели, громоот-

воды и еще чёрт знает что. Но для постороннего взгляда эта отъединённая и стерильно ухоженная площадка, ошетилившаяся иглами ажурных вышек вокруг паукообразных объёмов с их ощутимым гулом и напряжением, отзывающимися в слабом человеческом организме неким позывом к истерике, кажется именно чем-то посторонним и к людям, живущим или выпасающим здесь скот, отношения не имеющим. И даже существа, облачённые в белые с отблеском комбинезоны и прозрачные диэлектрические шлемы, воспринимаются как инопланетяне, устроившие здесь полигон для каких-то своих нужд. Но всё это современная мифология – никто особенно не всматривается в ту сторону, не пугается, не разглядывает существ в комбинезонах с длинными белыми шестью в руках, нужными, видимо, для манипуляций с энергией.

По окружной дороге по-прежнему катятся мимо посёлка стада, текут по гребням плотин, весной – вверх, осенью – вниз, оживляя циклопический и в то же время лаковый, открыточный пейзаж с синей подпертой рекой и глядящимися в неё горами...

* * *

Так об чём речь, дорогие сограждане?

Речь не об истории с географией.

Что касается чистоты, экологии и минимальности затопления полезных земель, Нарынский каскад – один из наиболее благополучных.

...Эта географическая глава пишется уже после того, как автору было указано именно на невнятность географии, разболтанность временных координат, небрежное введение отдельных героев, и т. д. и т. п. В общем, на дилетантизм. Конечно, принявшись писать роман, автор делать этого не умел, но, тем не менее, с беспрецедентной наглостью взялся за это дело почти по модной в те времена формуле: «если не я, то кто же?», точно зная, что больше никто не возьмется. И не то чтобы очень уж хотелось водить пером по бумаге (автор по сути своей ленив), не для того, чтобы зафиксировать уходящее или прояснить невнятность жизни. Но потому, что нечто в этой невнятности задело так глубоко и больно, что избавиться от этого не нашлось иного способа, чем расковырять болячку и посмотреть, что же там было такого и от чего так саднит.

Так вот, об этой истории, скажем так, на географическом фоне.

Не будем рассматривать все двадцать лет (от покоя до покоя уже в ином виде) за которые в данной местности произошли столь разительные перемены. Рассмотрим лишь некую болевую точку, пришедшуюся, примерно, на середину этого временного промежутка. А чтобы было понятнее и просторнее взгляду, отмотаем события на год назад, как раз к тому времени, когда посёлок строителей Музторской ГЭС, обосновавшийся в пойме левобережного притока, уже врос в террасы склонов, назвал себя Кызыл-Ташем, выписал вензеля улиц с мостовыми, тротуарами и арыками, срыл насыпь старой дороги и опоясался окружной. Залечил потревоженную до кровавой раны почву, засадил её кустарниками и деревьями и сам почти скрылся в них, будто всегда здесь был, и ничто уже не указывало на его инородность и пришлость. Только русло великой реки за хребтом, все ещё загнанной в туннель, являло собой развороченное операционное поле, уставленное всевозможными приспособлениями и инструментами, необходимыми для операции. Скальное же пространство вокруг (если можно назвать пространством вертикальные стены ущелья), дабы с них, не дай Бог, что-нибудь не упало и не покалечило бы операторов, механизмы и само создаваемое сооружение, было сплошь затянута профилактической сеткой, сплетенной из проволоки в одной из тюрем региона. (Заклученных тоже надо чем-то занять, почему бы не плетением сети?). Сама же плотина была укрыта брезентовым шатром, под коим как бы готовился сюрприз, скрытый до времени от Божьего ока; хотя наличие шатра было вызвано лишь континентальным климатом и должно защитить создаваемое от непогоды, морозов и зноя.

По времени это, ну, примерно, 1973 год, а еще точнее, февраль, самый его конец, скажем, последний понедельник февраля, между четырьмя и шестью вечера. Как раз в это время проводятся планерки в управлении строительства, а по описанной дороге едет одна из наших героинь... Конечно, странен женский взгляд на производственные дела, как и само присутствие женщин в отдаленных и труднодоступных районах страны, тем более, если женщина занимается взрывами, пусть и направленными. Но с другой стороны, женщина вроде бы нужна и для красоты сюжета, такова, скажем, литературная традиция. Но весь смех в том, что нужна она и самой жизни, зачем-то, в самых неожиданных местах, может быть, для того, чтобы сильному полу было перед кем красоваться, а, может, как своего рода катализатор, что, оставаясь нейтральным, ускоряет реакции, генерацию идей, придает блеск и изящество мужским решениям и поступкам, чаще никакого отношения к ней не имеющим. И по жизни – женщина, занимающаяся возведением плотин направленным взрывом, смею заверить, там *была*.²

² Звали её Мадлена. Вот именно. Это потом, выросшие Мадлены, Элеоноры и Инессы станут называть своих дочерей Настями, Машками и Анютами, а рожавшие перед войной Матрены и Марфы нарекали дочерей Мадленами, Элеонорами, Анжелами, на худой конец, Ларисами или Алисами. У нас в классе была даже Риомелла. Риомелла Стецюк, а?

2. Начальник, его главный инженер и прочая рать

На еженедельные планерки в кабинет начальника строительства Зосима Львовича Тереха собираются все подрядчики, субподрядчики, представители всех СУ, СМУ, участков и колонн, строительство осуществляющих. Хотя к тому времени уже входила в моду селекторная связь и коробки селекторов уже красовались на столах, кызылташцы относились к этому веянию с прохладцей и селекторные совещания никак не внедряли, думается, главным образом, не желая отменять эти еженедельные сборища и по-своему ими дорожа.

Здание управления возводилось в три приёма – вначале быстренько собрали два одноэтажных щитовых дома, один за другим, а через год или два возвели и соединивший их двухэтажный кирпичный куб. В целом получилось нечто топорное, залёгшее в глубоком кювете идущей по склону дороги, раскинув по земле два деревянных крыла. Но уже привычное, удобное, к тому же, почти скрывшееся среди разросшихся деревьев и кустов. Поднявшись на высокое, слегка нелепое крыльцо с козырьком, попадаешь в просторный темноватый вестибюль с дверями по сторонам и проходами в коридоры боковых пристроек. Широкая лестница в глубине разветвляется на две и ведет на второй этаж, где размещаются техотдел, обиталища замов и просторная приёмная между кабинетами начальника строительства и главного инженера.

Февраль, стало быть, две одноногие вешалки в ближних углах приёмной ломятся под ватниками, тулупами и шапками, пришедшие позже сваливают одежду на стулья вдоль стен, а дверь кабинета начальника даже как бы вибрирует от гула набившегося туда народа.

Как и в любой другой понедельник, поначалу утрясались всякие несогласованности на монтаже, на сей раз возникшие из-за утери графика монтажных работ, созданного почему-то в одном экземпляре. Начальник строительства, Зосим Львович Терех, вполне благодушно распорядился в срочном порядке «реанимировать» этот «безвременно погибший график». Но главным вопросом, стоящим уже почти истерически, был вопрос о дальнейшей укладке бетона в плотину, грозившей вот-вот встать из-за отсутствия металла третьего и четвертого водоводов.

Конечно, бетон надо класть, ибо это единственное, на что им платили деньги, которые делились на всех. Уже сегодня крановщики изворачиваются на одном самолюбии, но скоро краны встанут совсем, подсыпная дорога перед плотиной и ведущий к ней транспортный туннель мгновенно будут забиты подпирающими друг друга бетоновозами, а их рёв, будут стараться перекричать, срывая голосовые связки, матерящиеся шофёры и диспетчера.

Три конвейера бетонного завода останоят, уже схватывающийся бетон распахают всем, кто согласится его взять и употребить с пользой – строителям здания ГЭС, дорожникам, тем же туннельщикам... Бетонщики будут слоняться по плотине и поплевывать вниз, в зияющую дыру, где между уложенными блоками и четвертым транспортным туннелем должен пройти водовод.

Металл, означенный главным технологом Щедриным «вопросом большим и неразрешимым», по сути являл собою тришкин кафтан, который делили меж тремя среднеазиатскими стройками – Нуреком, Черваком и Музтором. Вопрос его добычи не обсуждался – зам. начальника по снабжению Илья Григорьевич Толоконников, по прозвищу Бампер, уже вторую неделю как отбыл его добывать и, похоже, не отчаивался, слал ободряющие телеграммы, по которым можно было определить разве место его нахождения: Москва – значит, министерство, Липецк – завод-изготовитель. Илья Григорьевич смог буквально вырвать металл для первых двух водоводов, когда слово «консервация» казалось неотделимым от названия стройки. Музтор, Музторская ГЭС – это в министерстве означало то, что было приостановлено, отодвинуто в неопределенное будущее, «законсервировано», заморожено и должно пребывать в сомнамбулическом состоянии, пока в министерстве не сложатся благоприятные обстоятельства, не всплывут какие-то деньги и фонды, кои нужно освоить, дабы не потерять. То, что им выде-

лили металл для первых двух водоводов, объяснялось не столько расторопностью Ильи Григорьевича, сколько удивлением и оторопью в министерстве, вызванными выходом строительства на уровень этих самых водоводов без всяких к тому возможностей: «Оказывается, они чего-то там ещё и строят...»

Теперешние надежды на Илью Григорьевича выражались крайне туманно:

– У него родня в Липецке...

– В Курске!

– Во, набили металлу под Курском, до сих пор не раскопают!

– Прекратите гудение, – начальник строительства Терех прикрыл рукой ухо и поморщился, – Цикады...

...Почему теперь, при воспоминании об этих «цикадах» и прочих немудреных остротах Тереха, произнесенных добродушно-ворчливым тоном, встает ком в горле и трудно припомнить, что же они вызывали тогда, когда произносились? Помниться именно ощущение тепла, в котором желание отбиться, отвертеться – каким-то образом трансформировалось в готовность помочь, отдать, подставиться, причем, с легкостью и полным сознанием, что подставляешься – А ладно!.. Только от ворчливого тона человека с по-птичьи добродушным лицом, невысокого, суховатого, с едва заметным животиком из-за отсутствия всякой заботы о собственной стати?

В тот момент Зосима Львовича Тереха более интересовали возможности временного, из-за отсутствия металла, выхода из четвертого транспортного туннеля, общими усилиями уже сведенного к двум вариантам – мосте бычком или консоль. При этом Леня Шамрай, беспомощно глядя близорукими глазами сквозь толстые линзы очков, от лица проектировщиков говорил почти в оскорбленном тоне о нежелательности того и другого варианта как прямой угрозы всему сооружению, и «вообще неизвестно, как оно себя поведёт».

Чуть вислый нос, продолжающий линию покатога лба, и белокурый нимб вокруг лысеющей головы Шамрая составляли как бы профиль овна, невинной жертвы за чужие грехи, и мало соответствовали характеру и весёлому складу его ума, но если Шамрай говорил что-либо в оскорблено-обиженном тоне, то становилось не по себе и совершенно ясно, что уж этого никак нельзя, невозможно и грех, что дело дошло до ручки и до точки.

Терех повертел чётками, сбоку, по-птичьи глянул на сидящего справа от него главного инженера, Германа Романовича Лихачёва и, после некоторого молчания, сказал:

– Или ты разберись, или я буду принимать решение, не разобравшись!

Лицо Германа Романовича, до сего времени тупо рассматривавшего побелевшие суставы на сжатых кулаках, с медленным изумлением принимало осмысленное выражение.

Кто-то фыркнул, и с десяток пар глаз уставились на него с весёлым ехидством.

Собственно Герману Романовичу и надлежало разбираться во всех вопросах, касающихся технической стороны возведения плотины, начиная с тех, которых никто и никогда не решал, и кончая – возникающими чуть ли не ежедневно из-за того, что стройке чего-то не додали, не выделили или не поставили в срок. Но в том, что начальник собирается «принимать решение не разобравшись», – был явный упрек ему, Лихачёву в безделии или занятости «своими делами», диссертацией, стало быть. И хотя в ней он собирался изложить метод, выработанный для возведения именно этой плотины, сама по себе диссертация уже не имела к стройке никакого отношения.

Раньше начальник никогда не встречал в вопросы конструкции.

Глупо, да и некогда надеяться на Толоконникова, но от моста с бычком и от консоли Лихачёва воротило примерно одинаково, и он сказал, просто чтобы выиграть ещё вечер, утро и ночь:

– Ну что ж, давайте завтра еще раз посмотрим на месте, что можно сделать. И решим. Девять утра всех устроит?

Он в упор оглядел всю компанию, а начальник кивнул на протокол:

– Запишите.

* * *

После планёрки Герман Романович прошел к себе в кабинет и плотно прикрыл дверь.

Он и сам не знал, что собирался высмотреть завтра на месте, сообразить утром или вечером – на плотине он был и вчера, и позавчера, и сегодня, и каждый день. Срез котлована стоял перед глазами как большая фотография, только мелькало иногда, будто на снимок клали сверху ещё один, ещё и ещё... Рано или поздно что-то должно проявиться на этом снимке, должно же наконец что-нибудь прийти в голову человеку, которому задана такая вот картинка. Человеку в общем-то сообразительному и привыкшему к работе до упора, но без перебирания вариантов, имевших место в практике или классических, отчего он тупел...

Сидел Герман Романович довольно долго, пока в дверь не просунулась голова Костика из производственного отдела, а потом и весь он, довольный донельзя, протиснулся в дверь, помахиная реанимированным монтажным графиком, словно сушил свежие чернила. Пока Лихачёв изучал график, Костик вскакивал, садился и ёрзал от нетерпения. Наконец не выдержал:

– Ну и как? А, Герман Романыч?

– Лихо.

Костик расцвёл и пошел из кабинета прочь, уже от двери поднял приветственно руку. Лихачёв усмехнулся. Пока тебе важно, что тебя хвалят – ты молод, да что там – юн, похвала имеет ценность, когда исходит от старшего... Когда-то он и сам вваливался в кабинет начальника и так же гарцевал от нетерпения: «Ну что, Зосим Львович?»

Последний раз Герману Романовичу Лихачёву хотелось, чтоб его похвалили, пожалуй, этак лет десять назад, когда он выбил для стройки коэффициент по заработной плате.

Существуют всякие северные, колёсные, высокогорные, коэффициенты за отдалённость, увеличивающие заработную плату во столько раз, во сколько коэффициент выше единицы. Им не хватало ровно пятидесяти метров, чтобы объект автоматически был причислен к высокогорью, и двадцати двух километров для коэффициента за отдалённость от последнего жилья.

Там, в Верхах, не могли знать, что это за километры, которые в начале строительства не всегда можно было преодолеть и за световой день, а в дождь или зимой, в снегопад или после него, когда нагревались скалы от вдруг выглянувшего солнца и оплывали на старых обветренных участках, выкатываясь на дорогу осыпями и обвалами. И давно не знали, что за горы, в которых им предстояло построить ГЭС. Предыдущая ГЭС Нарынского каскада строилась еще в долине, хотя и у самого подножия гор, а теперь они забрались в дичайшие места, где автотропа едва была пробита, и её ещё нужно было довести до состояния дороги, по которой мог бы ходить тяжёлый строительный транспорт, ведомый нормальными людьми с нормальной скоростью. А не только лихими ребятами в хорошей компании для подталкивания и подкладывания под колеса камней. Вот тут-то, когда расширяли дорогу, и поползла Гнилая гора – дорога подрезала ей основание как раз чуть ниже скрипучего подвесного моста, и посёлок больше чем на месяц оказался отрезанным от всего остального мира. И в посёлке съели весь запас рыбных консервов – все частики, шпроты и всю паюсную икру, которой тогда было навалом, она стояла на витринах в лотках килограммов по пять, и по теперешним временам была баснословно дешевой. А в кафе подавали макаронны под килькой в томате. И до сих пор посёлок не выносит даже вида рыбных консервов, в Торге от них отбояриваются как могут, а то, от чего не могут отбояриться, помаленьку съедают командированные, которых в пору Гнилой горы здесь не было.

Сквозной дороги на Музтор тоже не было, и начальник автобазы Домбровский пёхом пригнал через перевал стадо баранов, выменяв его на ЗИЛок в Кетмень-Тюбинской котловине. И только тогда в столовых появилось мясо, а у Домбровского тяга к подсобному хозяйству,

его мужицкая запасливость и хозяйственность оказались, ох, как дальновидными! А ЗИЛок смогли переправить туда только через год. И мог ли представить себе Домбровский, гоня баранов через перевал, что когда-нибудь через него и два четырехтысячника, Тюя-Шу и Алабель, проляжет тракт в столицу республики, и те семьдесят восемь километров, что пробили и обиходили они, даже будут записаны дорожниками на свой счет?

А Гнилая гора все ползла, ползла и никак не могла остановиться. И тогда они выписали артиллерию и расстреливали её из гаубиц чтоб она уж поскорее сползла.

Но по нормам им никаких коэффициентов не полагалось, хотя по сумме условий стройка должна была тянуть хоть на какой-нибудь.

А на створе люди лезли на скалы и закреплялись на них.

И тогда Лихачёв поехал в Москву выбивать коэффициент. А дать его, утвердить вопреки всем нормам мог только Совет Министров. Заседание Совмина по всяким вопросам такого рода бывает один раз в году, вопросов там сотня, и на каждый приходится не более пяти минут. Ему пришлось обегать двенадцать ведомств и везде размахивать снимками, и объяснять сложный, тяжелый характер стройки – эта тяжесть и сложность казались ему самоочевидными, но из двенадцати ведомств положительные заключения дали только два – Министерство Энергетики, естественно, и, естественно, ВЦСПС. Расклад, при котором надеяться было не на что.

Что тогда было в нем – наверно, решимость отчаяния – он знал, что доклад министра энергетики при одном «за» от ВЦСПС обречён, и вряд ли министр будет драть глотку за их стройку – у него этих строек до хрена и больше, и каждой что-то надо.

Лихачёву оставалось только всеми правдами и неправдами добывать себе пропуск в Совмин и прорываться через двенадцать дверей и двенадцать чиновников, отделяющих от улицы Зал Заседаний. Он прошел эти двери, как огонь, воду и медные трубы, ибо всех его друзей, приятелей и сочувствующих не хватило на то, чтобы добыть пропуск на само заседание Совмина. Вся его нахрапистость и изворотливость держалась только на одном – «наше дело правое». Проходя через шестую дверь, он не знал, чем закончится дело у седьмой. И так – до двенадцатой. Ему только объяснили, как вести себя в Зале Заседаний – войти деликатно, но как бы по делу, не имеющему отношения к заседанию, будто шляпу забыл, пришел проверять вентиляцию или кондиционер, и одет должен быть соответственно. И он прихватил синий рабочий халат на случай, если его придержат где-нибудь на полпути. Далее следовало пройти в самый тёмный угол, что по левой стороне от входа, и без скрипа присесть на крайнее кресло в последнем ряду. И еще он знал порядковый номер вопроса, семьдесят второй, в ряду прочих, рассматривавшихся в этот день. И пока будут идти пятый, двадцать пятый, тридцать шестой и так далее, он должен продвигаться на один ряд вперёд, не скрипеть креслами, не кашлять и никак не обращать на себя внимание. Но к тому времени, когда очередь дойдёт до семьдесят второго вопроса, – оказаться в первом ряду и суметь встрять в разговор. А далее всё будет зависеть от отличного обаяния и убеждённости – выслушают его или выставят за дверь.

Он шёл как ему было подсказано, без всякого неудобства, будь он даже в халате, вряд ли ему бы жало подмышками от самолюбия или робости. «А что, какие наши годы!» Молодой он был тогда – тридцать семь лет. Или тридцать шесть? Он прошёл все заслоны и едва не погорел у двери самого Зала Заседаний. Дверью заведовал товарищ генеральского вида, он-то и разглядел, что все пропуска и направления Лихачёва в комиссию Совмина, но никак не на его Заседание. Возвращаться назад для уточнений Лихачёв не мог – никаких уточнений и дополнительных разрешений ему бы не дали, – он это знал точно, в отличие от генерала, который сомневался. Заседание уже началось, и Лихачёв только глянул на генерала и резко рванул на себя дверь. Что было во взгляде, и от чего опешил генерал можно только гадать, скорее всего, он просто понял, что остановить Лихачёва нельзя, что если пытаться останавливать, то выйдет скандал и сплошное неприличие. Не мог же он в самом деле, как швейцар, хватать человека за воротник и выволакивать прочь, демонстрируя служебное рвение перед Заседанием Совмина

и его Председателем? Генералу оставалось только подробно ознакомиться с оставшимися в руках документами, и уповать на то, что прорвавшийся не окажется шизофреником, сбежавшим с Канатчиковой дачи, автором вечного двигателя или еще какого-нибудь изобретения, возможно, и имеющего определённый резон.

А дальше всё шло как по писанному – кто-то поднял глаза на раскрывшуюся дверь, и ещё раз, попристальнее, взглянул их министр, Пётр Степанович Непорожний, как бы желая удостовериться, не померещилось ли ему. Потом про Лихачёва забыли – реакция была лишь на распахнувшуюся дверь. Он пересаживался из ряда в ряд как ему и советовали, не скрипя стульями и, когда очередь дошла до семьдесят второго вопроса, оказался в первом ряду Пётр Степанович изложил суть вопроса, присовокупив, что ходатайство Министерства Энергетики было поддержано лишь ВЦСПС. И тут Лихачёв рванул наискосок к столу, за которым восседал Совет и обратился к Председателю: «Я прошу всего пять минут, и если за это время мне не удастся вас убедить, вопрос снимется сам собой». Голос у него срывался до альта, он хлопал по ладони папкой с фотографиями, напряжённо вытягивался и нервно притоптывал ногой. Косыгин спросил: «Кто вы?» или «Кто это?», потому что ему ответил: «Да главный инженер этой ГЭС», – министр Водного хозяйства, с которым Лихачёв сражался за подпись не на жизнь, а на смерть, но так её и не получил. Выпрашивая подпись, он много чего нагородил этому смежнику, этому ирригатору (ГЭС-то ирригационная!), который хотел, чтоб и водичка была, и рук не приложить, даже в самом прямом смысле – не подписаться. И тон был такой, как бы отмахивающийся отчего-то, до смерти надоевшего: «Да главный инженер...» Вот на тон и отреагировал Председатель: «У него, наверно, имя есть?» И сразу все проявили заинтересованность, основанную на почтении к Председателю и желании оказаться в струе. Лихачёв даже успел изумиться, хотя ему было не до того. Он представился и был представлен Петром Степановичем Непорожним, всё это хором, в один голос.

«Я думаю, что Герману Романовичу как главному инженеру виднее, что там происходит. Предоставим ему эти минуты, – сказал Косыгин и обратился к нему, – Но не более пяти».

Лихачёв раскладывал схемы и фотографии, а там, ну что там – отвесные скалы, дымящаяся Гнилая гора, по которой пробивается бульдозер, привязанный тросом к лебёдке, пристёгнутые карабинами к страховочным веревкам люди, переносящие на себе грузы и оборудование. Висящий на скалах рабочий, держащийся одной рукой за какой-то выступ, а другую протягивающий напарнику с отбойным молотком. И опять бульдозер на склоне, а рядом Гарик Манукян, подкладывающий камни под гусеницы, – тропа у самого створа, и на некоторых фотографиях отмечен уровень будущей плотины.

Конечно, он кричал эти пять минут и про перепад температур от +40 летом, до -40 зимой, и про перепад высот между поселком и собственно створом, и про все остальное, упирая на то, что сумма всех условий тянет на какой-нибудь коэффициент, но общий смысл собственной речи ему представлялся смутно. Его остановили на полуслове: «Спасибо». Пять минут истекли, он собирал в кучу разбросанные снимки, они никак не укладывались и не лезли в папку а потом выскользнули и посыпались на пол. Он полез за ними под стол и увидел чьи-то руки справа и слева, помогавшие их собирать. Когда он вылез, ему совали в руки снимки, а Косыгин сказал: «Будем надеяться, что если не всех, то некоторых из нас вы убедили». Лихачёв выскочил из зала как мальчишка, и уже больше из озорства, чем на радостях стиснул генерала в объятиях и расцеловал в щеки, пахнувшие резедой.

Им дали тогда коэффициент 1,3 – для всей стройки и 1,6 – для работ непосредственно на склонах, на что он даже надеяться не смел. Он возвращался на белом коне и ждал, что его будут подкидывать и подбрасывать, очень хотелось, чтоб его похвалил начальник, какой он молодец и умница, ханыга и прохиндей, хотелось рассказать, как это всё было, чтоб начальник оценил все подробности, А Терех только спросил: «Выбил?» И он едва успел кивнуть. «Ну вот и хорошо». И даже не спросил, как ему это удалось и досталось. Лихачёв очень тогда обиделся

на начальника – очень хотелось, чтоб его похвалили, погладили по голове. А ему: «Выбил? Ну и хорошо». И всего делов.

Сейчас плотина худо-бедно растет, но всё-таки это существование, а не рост. И еще его ворчание: «Герман Романович, я понимаю, заставляй тебя заниматься подачей пара на полигон – все равно, что ценной вазой забивать гвозди в стену, но, может, ты найдёшь для себя более подходящее занятие? Соответствующее ценности сосуда? Или нам теперь только диссертаций ждать?»

Когда заложили первые два блока плотины послойным методом, специально изобретённым для этого отвесного ущелья, и ждали, что станет делать бетон – будет трескаться или не будет, и от страха нарезали температурных швов больше, чем нужно, а потом забивали эти швы и снова ждали – как всё это долго и напряженно ждалось! Начальник только заглядывал Лихачёву в лицо – хотя что там можно было разглядеть, он как каменный был тогда. Но вот начальник заглядывал и успокаивался. Именно с тех пор у Тереха завелась манера вертеть четки, за что его за глаза стали звать «папой Соломоном». Потом Соломон отпал, папа остался – «папа Терех».

Следом заложили еще два блока, в два и четыре раза больше и только с двумя температурными швами, и снова ждали результатов лаборатории... И когда результаты пришли, шапки летели вверх, начальник целовал его, а он начальника, и Гарика Манукяна, и бригадира Феттаева, и привёзшего добрые вести завлаба... А потом все качали завлаба, а он стоял и думал о ставшей ясной как день необходимости железобетонной опалубки на месте температурных швов, навсегда остающейся в теле плотины.

И уже не ждал благодарности, и уже не хотелось, чтобы его погладили по голове и похвалили...

3. Судьба – не судьба, её приметы или их отсутствие. Судьба – это работа

А ночью шел дождь, первый в ту весну, и когда Лихачёв выезжал из посёлка, низкие облака тянулись в сторону долины, волочась по земле клочьями тумана. Взметнувшийся над поселком хребет был почти скрыт ими, только проступала самая нижняя часть его скругленных, бурых от прошлогодней травы предхолмий, образовавшихся на месте старых осыпей. Бурый их цвет был с обещанием зеленого, газик шел легко, и настроение было такое, будто на плотине уже лежало готовое решение – надо только подойти, наклониться и взять.

Элегическое настроение ночи, вызванное ровным шумом дождя, упавшего на землю в полной тишине и неподвижности всего остального мира, и видом обрызганных, счастливо сияющих в темноте ночи окон, освещенных невидимым фонарем, это настроение отступало, стиралось... Как и проблеск какой-то общей мысли, чего-то вроде «судьба – не судьба»... Он был готов, натянут, сжат, чтобы распрямиться, как пружина, едва его вынесет на плотину.

Между отрогами, где расположилась автобаза, туман был налит как в чашу, газик нырнул в него, как в воду, чтобы вынырнуть уже на следующем отроге, снова приподнимавшем дорогу. Дальше она серпантинном разматывалась вниз, до самого Нарына, туман снова становился облаками, и только отдельные клочья его бежали вдоль дороги, как чьи-то отлетевшие, босые и весёлые души.

А после моста, почти не заметив, как проскочил правобережный участок дороги, Лихачёв разогнался по седьмому туннелю и вылетел на плотину.

Вся компания была уже в сборе, Шамрай держал развернутую синьку среза, остальные топтались вокруг, и только туннельщик Матюшин стоял чуть в стороне, смотрел вдаль, и выражение скуки бродило по его холёному, мягкому, ещё молодому лицу.

Площадка у второго транспортного туннеля как будто стала шире со вчерашнего дня, в неё легко вписывался разворот, он просто просился туда, и если его чуть расширить и продлить по линии примыкания к скале, то вполне можно выйти на проектную дорогу А это объём бетонирования на месяц целому участку, а дальше уже мост, но без бычка, временный, пока будет монтироваться водовод...

Лихачёва охватило знакомое возбуждение – хотелось взять за плечи Лёню Шамрая и развернуть лицом к площадке перед туннелем, он был очень сообразительный, Лёня, и в состоянии, близком к его собственному. Но крадости примешивался легкий зажим обиды и весёлая злость, которую он не считал нужным скрывать. Эти задницы не хотели думать сами, и уже была в ходу фразочка: «А куда вожди смотрят? – А вожди смотрят в диссертацию». Он с холодной вежливостью отшлёпал своих умных мальчиков (две недели решение ищут!) и, ещё горяченький, отвернулся и сделал стойку, увидев выходящую из лестничного колодца нездешнюю женщину. Опля! Вы пока соображайте, а я за женщинами поухаживаю.

Женщина была красивая. По крайней мере так показалось в момент, когда она вышла из дыры будущего лестничного марша – полы длинненькой шубки в руках, поднятый подбородок. А за нею шёл Гарик Манукян, и можно было поклониться и придержать Манукяна, чтоб она тоже подольше постояла рядом, и чтоб запомнила. Но она подняла глаза и улыбнулась:

– Здравствуйте, Герман Романыч!

Знакомо короткая улыбка, приветливость-вежливость и милая скромность милого лица. Но подбородок не опустила, и в этом была какая-то знакомость и уверенность чисто женская, что вырабатывается годам эдак к тридцати даже у милых скромниц...

Он поклонился ей отработанным поклоном для женщин, в глазах чёрт: «Ну-ну». Чёрт весёлый, почтительный, светский. Во встречном взгляде мелькнуло смущение и как бы даже

огорченность, он не успел рассмотреть толком – она уже отвела глаза, чтобы сделать последний шаг из лестничного колодца наверх.

Она сделала его так неуверенно, и так внимательно глядела под ноги и чуть дальше, чем было нужно для этого шага, что он улыбнулся и ухватил Манукяна за полу, чтобы спросить: «Где она у нас работала?» Неожиданно громко, как выстрел, хлопнул сорванный ветром угол брезентового шатра, и Лихачёв вдруг вспомнил: «Так это же та девочка, Бог мой! Явилась!» Он все-таки спросил у Манукяна:

– Где она у нас работала?

– У Пулатходжаева... в Спецпроекте.

И еще спросил, сразу, чтоб Манукяну не пришлось удерживать понимающую улыбку:

– Долго еще будешь заливать спираль?.. Сегодня же наладь слив! В те изначальные времена молодые специалисты говорили о ней чуть ли не с придыханием, а он никак не мог взять в толк, что же в ней было такого, о чем можно было бы говорить. С придыханием. Когда приходила по делу, смущалась до сгиба спины, до косолапости. Правда, совсем другая в окне, идущая через площадь – стремительная походка, пряменькая спина, короткая яркая улыбка... На какой-то коллективной пьянке Лихачёв снисходительно пригласил её танцевать, и она пошла, вскинув на него изумленные глаза – понимая и снисходительность его, и что не находил ничего. От этого изумленного взгляда он вдруг почувствовал себя уже не первым парнем на деревне, а легкомысленным шаркуном, ни с того ни с сего раскатившимся по паркету.

И эта история с Багиным. Почему именно он говорил с ним? Ах, да, начальник велел. Багинская жена пожаловалась то ли в партком, то ли самому, и ему велели.

А что он говорил Багину наверно, только Багин и помнит. Что-нибудь вроде того, что если б не нужно было стирать рубашки, он и сам бы не женился... Он твёрдо знал только, что Багин остался с женой, а она уехала, но не сразу, потому что разговор с Багиным был летом, он хорошо помнит, как эти двое уходили по раскаленной, вдруг раздавшейся площади, и знойное марево текло-переливалось под их ногами. И долгую тишину, которая вдруг лопнула, раскололась с сухим взрывом – это свалился цветочный горшок из окна дирекции, столкнутый необъятной грудью одной из зрительниц... Мелькнуло Багинское лицо из того разговора – с непроницаемо сияющими светлыми глазами. А Багину он тогда говорил, что бабником надо родиться, что это редкость, как родиться в рубашке, чтобы не отравлять жизнь себе, жене, любимым женщинам... А иначе всем плохо, в том числе ему, Лихачёву, но Пулатходжаеву еще хуже – ведь он в тот момент с ней говорил, как же её звали? И только смысл последней фразы дошёл до Багина точно, потому что сияющий взгляд вдруг стал холодным и жёстким. Багин глянул на него ещё раз от двери, издали... И это был август, а кинотеатр был после, в мае, он точно помнит, май, и оркестр, и идет мимо высокая чужая девочка с ничего не видящими глазами. Через силу повела головой – кто там кланяется? Вежливая девочка, даже через силу. И поклониться опять, уже этому усилию, с комом у горла. Когда мимо что-то настоящее и не про нас.

Он обернулся в сторону четвертого блока, куда они ушли с Манукяном, Шамрай увязался за ними, что-то кричал ей в ухо, она даже ежилась, но улыбалась и, подняв подбородок, смотрела ему в лицо. Вон какая стала.

День был яркий, расхристанный, с наплывами, словно всё, что попадалось на глаза не хотело уходить из сознания и двойной проекцией накладывалось на находящееся в поле зрения: мелькали на ряби воды мягкое лицо Матюшина, золотой пар над бетоном и бегущие саваны облаков, блеск речных струй на дороге и лицо с заносчивым подбородком... Была весна, земля парила и уходила из под ног, и во всём было такое острое ощущение бытия, одновременно зыбкого и вечного, стремительно текущего и навсегда уходящего...

А вечером раздался телефонный звонок, был первый час ночи, тоненький и немного виноватый голос телефонистки сказал:

– Герман Романович, не разбудила? Это четвёртая, я думала вам будет интересно, тут телеграмма, от Толоконникова...

Это была именно та телеграмма, которую он ждал: «Металл есть!» и поздним слухом уловил, что звонок-то девочки давали междугородний.

Ему было сорок семь лет, где-то в ещё заснеженной, крутящей мартовской метелью Москве дочь собиралась рожать ему внука, и потому там была жена и, скорее всего, ещё не спала. И хотя разница во времени не исключала звонок, он наглухо исключил его вероятность, выстраивая цепочку событий другого ряда.

Девушка, замеченная на плотине, мелькала несколько раз рядом с ГИПом³ Кампараты, очередной ГЭС каскада – Люсенька Шкулепова, Алиса Львовна, в стеганой курточке, в брюках, заправленных в резиновые сапоги – на повороте к гостинице, на площади, в вестибюле управления. И улыбка и поклон ему, Лихачёву. В вестибюле кто-то кинулся ему под ноги:

– Герман Романыч, я к вам!

И собственный рокочущий весёлый голос:

– А зачем ты мне нужен?.. Я тебя звал?

Она всё-таки позвонила ему, хотя никакой Кампаратой он не занимался, позвонила и назвалась.

– Наконец-то вы, сударыня, изволили позвонить!

Он слушал лёгкий, с придыханием голос, спросил напористо:

– Где мне вас найти? – И почувствовал растерянность на том конце провода, изумление, услышал упавший голос:

– Я... я сама к вам приду... вы только скажите, когда это удобно. Мне нужно всего минут двадцать...

Неслышно и наискосок летели облака в оконной раме. И ты снова дурак дураком, ни с того ни с сего раскатившийся по паркету...

– Перезвоните через полчаса, я поищу окно.

«Сама дура», сказал он в сердцах. Приезд этой барышни он тоже почему-то зачислил в число счастливых примет. Правда, радостного возбуждения при виде этой приметы было многовато.

* * *

А в памяти барабанил утренний дождь того дня, когда его вынесло на плотину. Дождь, упавший в полной темноте и неподвижности всего остального мира. И окна, счастливо сияющие в этой темноте, только потому, что бывшему энергетнику Карапету вздумалось когда-то вкопать на углу столб, а после вlepить и фонарь... Судьба – не судьба... Судьба – не женщина, судьба – работа, это он знал навсегда и навечно. Никакой мистики тут не было. Ему было знакомо это тянущее за душу ощущение, возникшее в темноте, под ровный шум дождя. Тоска по какому-то высшему смыслу, только тоска, ибо на созерцание и абстрактные размышления общего порядка, по сути, никогда не было времени, а, стало быть, не сложилось и привычки. Он только промелькивал иногда, этот высший смысл, в каких-то совпадениях, цепочках событий, удивительно вяжущихся одно за другим, или, чаще всего, в плохо понимаемых знаках.

Он хорошо помнил утро после перекрытия Нарына, после первой большой победы. Серое, сухое, беспросветное. В тот год долго не было снега, от мороза трескалась земля, стреляли скалы, и ветер тащил вдоль тротуаров пыль, как поземку. Замороженный посёлок спал, и только на окрестных хребтах зловеще горели костры, дым от них стоял над поселком слоями, срезая гребни хребтов. Как после нашествия кочевников, – сухо, холодно, беспросветно.

³ ГИП – Главный инженер проекта.

И непоправимо, ибо пути назад нет. Будто они что-то бесповоротно изменили в мире и с них теперь спросится. И не помогало знание, что костры для пущей торжественности зажгли комсомольские активисты, закатив старые автомобильные покрышки чёрт знает куда, что всё это проделывалось с лёгкой руки архитектора Мазанова, скорого в те времена на советы, а в то утро стоявшего рядом с ошеломлённым лицом. Даже оператор с кинохроники, увязавшийся за ними и захлёбывающийся восторгом от вчерашних своих операторских подвигов, притих и стоял, зябко сутулясь. А потом спросил: «А скажут ли вам спасибо через триста лет?»

И когда эти двое уходили по раскаленной, вдруг раздавшейся площади, и марево текло-переливалось под их ногами – благословение и отмеченность, и краткость момента, ибо следом – дурацкий горшок из окна дирекции или вопрос насчёт спасибо через триста лет.

* * *

А потом ничего такого не стало.

Когда над стройкой зависла консервация, как блокада, и нужно было выжить на пределе, на одной заработной плате – не жизнь, а борьба за выживание. Бетон все-таки шёл бесперебойно, в три смены, и в министерстве они на хорошем счету – «по ведомостям машин у них ноль, а они чего-то там еще и строят...» Но чувство брошенности – дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих.

По-прежнему горели осенние закаты, окрашивая в лилово-красные цвета небо, горы и сам воздух, по-прежнему падали светлые весенние дожди, но ощущение брошенности, предоставленности самим себе... Они выкарабкались из, казалось, полной неразрешимости, из отсутствия в природе способа возведения плотины в таком каньоне, выработали его на предельном напряжении мозгов и железобетонном упорстве людей, предоставленных самим себе... И когда головы перестали болеть, и сесть или лысеть, как у него, ему видимо, не хватило загруженности, и от этого, как от сырости, завелась книжка, а затем диссертация. И сейчас трудно сказать, чего было больше – инерции напора или желания застолбить опыт, добытый собственным горбом.

А теперь вот – судьба не судьба, но ты выходишь на люди таким, каким тебя привыкли видеть: «Я вам покажу консоль! И бычок!» И делаешь стойку, увидев юбку. И знают тебя именно таким, и испуг отсюда, «я сама к вам приду...» Хотя не изумись она, всё пошло именно в этом духе.

Он не сразу взял трубку.

– Герман Романович? Это опять я... – она перевела дыхание, голос был виноватый.

– Сколько вам нужно времени, чтобы добраться до управления?

– Минут десять-пятнадцать.

– Я жду вас через двадцать, – он нажал кнопку селектора.

4. Откуда берутся счастливые приметы

Алиса Шкулепова приехала в Кызыл-Таш неожиданно для себя – она не собиралась возвращаться. Там осталась юность, любовь, счастье, невозможное по сути – впечатлением рая.

Перейдя в экспериментальный отдел на разработку и моделирование направленных взрывов, она как бы исключила для себя и вероятность командировок, время от времени возникающих в силу производственной необходимости, потому что «надо» или некому.

Но нежданно-негаданно в Москву из своего Ташкента заявился Вилен Карпинский, решивший возвести направленным взрывом плотину Кампараты, очередной ГЭС Нарынского каскада. Во всяком случае, желавший немедленно приступить к проектированию и созданию её опытной модели. В институте тема давно уже числилась госбюджетной, но не было заказчика, а, стало быть, и денег, могущих перевести тему из мифической бюджетной в плановую.

С Карпинским они были знакомы по Нуреку где Алиса проработала с полгода сразу после окончания института, и больше, пожалуй, не сталкивались все десять лет. Карпинский изменился мало, разве усы завел, но по-прежнему стояла в глазах насмешливая светлая точка. Он чмокнул Шкулепову в лоб и вольготно усевшись, рассказал с чем приехал. На зава экспериментального отдела Степанова и Шкулепову ему указали как на людей, могущих смоделировать нужный ему взрыв. Выцветшие глаза Александра Алексеевича Степанова блеснули и погасли, и он сухо объяснил Вадиму, что проектная организация не может быть заказчиком, и прежде всего нужно выходить на министерство. Карпинский и сам это прекрасно понимал, но он искал союзников, и, похоже, кроме Степанова и Шкулеповой, их у него здесь не было. Мало-помалу они выложили ему весь здешний пасьянс, и Александр Алексеевич твердо отправил его к начальству, посоветовав менее всего ссылаться на их готовность ввязаться в это дело, хотя, естественно, они и рады бы ввязаться.

На совещании, где его предложение обсуждалось между делом, Карпинскому снова объяснили про министерство, госбюджетную тему и заказчика, Карпинский понял, что «эта парочка» до удивления точно объяснила ему здешний расклад и главное – не дать от себя отмахнуться и утопить поставленный вопрос в ряду прочих. К тому же собственный подпор не допускал никакого отступления, Карпинского занесло, и он сказал, что управление строительства Нарынского каскада уже ведет переговоры по этому поводу в министерстве, пока об опытной плотине типа Кампараты, и решение – дело одного-двух месяцев. «И я хотел бы знать, насколько можно рассчитывать на выполнение подобного заказа вашим институтом, или мне следует искать другого исполнителя».

Его напор посеял некоторые сомнения, а он тем временем продолжил: «Пока же речь идет о предварительном совещании с участием проектировщиков, предполагаемого заказчика и представителей вашего института, занимающихся данной проблемой».

Ему ответили, что именно данной проблемой собственно никто не занимается. На что Карпинский потряс пачкой неизвестно для чего прихваченных «Вестников» и сказал, что у него в руках пять публикаций о проведенных в институте испытаниях, из коих два – полигонных, и реферат диссертации, защищенной в этих стенах; а изложенный в ней метод, на его взгляд, имеет прямое отношение к данному вопросу.

На публикации Степанова смотрели сквозь пальцы, так как они восполняли нужное количество оных, защита же Шкулеповой еще была на памяти – в проектных институтах защищаются редко. Карпинский заверил почтенное собрание, что «по отзывам, в том числе и зарубежным», это направление весьма перспективное. Он знал, что никто не будет проверять его экскурсии, как министерские, так и зарубежные, страстей и желаний урвать многообещающий кусок, насколько он мог судить, пока не было, было лишь желание жить спокойно и заниматься привычным. А к встречам и ни к чему не обязывающим совещаниям на предложенном уровне

здесь привыкли и относились, в общем, снисходительно. На том и порешили. А патриарх Беляков вдруг одобрительно заволновался: «А то, знаете ли, пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

Объясняя потом в закутке у Степанова свой «челночный метод», Карпинский более всего боялся напугать старика этой выскочившей малой ложью, но Степанов сказал только, что «ныне его радуют даже благие намерения и энтузиазм, становящийся редкостью». Название метода было из анекдота про Киссинжера, и Карпинский уверял, что наверняка все обойдется всего лишь одной перестановкой порядка действий, той, которую он так легкомысленно начал сегодня.

– Бандит ты, Карпинский, – только и сказала Шкулепова.

Решили, что ехать на таком уровне дел Александру Алексеевичу несолидно, поедет Шкулепова, тем более, знает всех. Алису вдруг как заклинило, будто все предшествующие разговоры не имели к ней никакого отношения. Как во сне она выписывала командировку, отдавала паспорт ринувшемуся за билетами Карпинскому и, почти ничего не соображая, отправилась домой укладывать чемодан.

Рейс был ночным, в ожидании посадки они стояли в продутом ветрами, резко высвеченном мертвенным светом прожекторов Домодедове с полосами наметенного снега и змеящейся по асфальту позёмкой. И у Алисы было такое лицо, что Карпинский сказал: «Ну что ты, мать, психуешь, я ж не замуж везу тебя выдавать».

Предрассветный Ташкент встретил такой же стылостью и промозглостью, аэробус разгружали более часа, и почти не спавшая Алиса продрогла до озноба.

В САО Гидропроекте⁴ Карпинский отвел ее к геологам, усадил за данные Кампаратинской разведки и исчез часа на два. Алиса успела просмотреть отчеты и немного представить себе Кампаратинский створ. Сложенные из порфиридных гранитов, «мясо-красных» по описаниям геологов, с извилистыми полосами от ярко-красных до темно-серых, отвесные борта каньона как бы раскрываются вверх по течению реки, отклоняясь в стороны на сорок-пятьдесят градусов. А дальше, где река образует излучину, красный массив прорывают дайки диабазов – темно-серые, зеленоватые, с редкими вкраплениями роговой обманки. Порфиридные граниты сильно выветрены, трещиноваты, что даст мелкое дробление при взрыве. Склоны сами как бы диктовали выбор типа плотины.

* * *

Карпинский вернулся с Павлом Ефимовичем Кайдашем, «лысым красивым мужчиной», как они называли его ещё в бытность начальником Музторской геологической экспедиции, а ныне – главным геологом САО Гидропроекта. Он как раз собирался взглянуть, как идут дела на Кампаратинской разведке, заказал вертолёт на три дня, а, стало быть, его можно будет использовать и для выбора створа опытной плотины. Карпинский тихо светился по этому поводу, словно пропеллер уже приделали к его подтяжкам, и он тихо журчал за его спиной.

Пока говорили о Кампарате, всё было довольно ясно: граниты, углы падения пластов, тектонические разломы, а далее геологические штольни, шурфы, состояние дороги, еще собственноручно автотропы, вагончики, питание, движок... События как бы сдвигались на десять лет назад, память плыла, Кайдаш казался законсервированным, перед глазами вставало медленно, трудно разворачивавшееся прошлое и таким же представлялось будущее – дорогой, какой она была к Музторскому створу десять лет назад. Кричаще красная полоса на снегу которую не мог закрыть никакой снегопад, оползни и камнепады, выбегающие отдельными глыбами с кровотокающим следом, и такая же дорога маячила впереди. Но был еще челночный метод Карпинского

⁴ САО Гидропроект – Средне-Азиатское отделение Гидропроекта.

и необходимость разговора со строителями, Карпинский снова говорил о бюджете и плане, Кайдаш смотрел на него удивлённо, оказывается его намерения и вертолёт просто счастливо совпали с намерениями Карпинского, вот как тому везло! Кто-то из присутствующих геологов подавал реплики: «Форсируешь?» «Страхуешься?» От поднятых бровей Кайдаша, смятой, с недомолвками речи Карпинского появлялось ощущение, что он еще где-то передернул, о чем она не знала. Все это напоминало давние здешние дела, вдруг показавшиеся вполне реальными в новом исполнении и довольно распространенные. Были такие совещания, когда кто-то просто обходил другого на повороте и этот другой всё понимал и молчал, потому что ничего изменить не мог или не был особенно правым. Вся эта возня даже не вызывала гнева, просто становилось душно. И сейчас душно и холодно, и перед глазами косой метельный снег.

Она оттянула на горле ворот свитера и сказала Карпинскому:

– Стоп.

Карпинский как бы споткнулся, снег продолжал лететь, сказывались ночной рейс, трехчасовая разница во времени, близость весны, и она сказала, мало думая о формулировке:

– Как-то не хотелось бы оказаться в компании очередного руководителя проекта, выбирающего престижный заказ в обход перспективных расчётов. Как когда-то был выбит Нурек... Что до сих пор аукается обеим стройкам...

Человек, вывернувший руки отделу перспективного проектирования в начале шестидесятих годов и пробивший проект в обход расчётов, ныне был главным инженером института, в стенах которого они сидели.

Опешивший Карпинский на мгновение замер с открытым ртом, Кайдаш остро глянул на Шкулепову.

* * *

Они хорошо помнили времена, когда нынешний главный инженер САО был ещё руководителем отдела Вахша, и каким-то образом сумел добиться решения о первоочередном проектировании и строительстве Нурекской ГЭС вопреки выводам перспективного отдела и всякому здравому смыслу. Тем более, что в отделе Нарына никаких телодвижений не предпринимали, в полной уверенности, что согласно перспективам их и предпринимать не надо. Решение о первоочередном строительстве Нурекской ГЭС грянуло как гром.

* * *

Зав. отделом перспективного проектирования Жихарев бегал по комнате, вцепившись в волосы и, наткаясь на столы и стулья, вопил: «Что за проклятая страна! Что за рабский народ! О наша родная российская подлость! В кои веки человек, облечённый властью, позволил себе помыслить в слух! Советоваться! Но мы-то, воспитанные не столько на повиновении, сколько на готовности подчиняться, с радостью, с самоотречением! Мы подхватываем каждый изгиб высокопоставленной мысли, чтобы довести её до абсурда! Если кукуруза, то до Северного полюса! Если ГЭС, то и на равнине, если ТЭЦ, то и в горах! Идиотизм!» И так далее.

В этом была вся грустная история отечественного энергостроительства. Вначале строили ГЭС, где можно и где нельзя, затопляли тысячи, миллионы гектаров пахотных земель, заболачивали реки, засоляли поймы, топили леса, всё это с размахом, с летящими как в прорву деньгами. А годы идут, проекты устаревают... Потом кому-то удалось объяснить первому лицу в государстве, чуть ли не проклятые капиталисты взяли сей труд на себя, что ГЭС – это большие первоначальные затраты, непостоянство режима, длительность строительства во времени, а вот тепловые станции... Да, размышляли наверху пожалуй, строительством тепловых можно быстрее обеспечить насущные нужды – быстро, постоянно, дешевле поначалу... И гре-

мят репродукторы, закладываются ТЭС – одна, вторая, десятая, двадцатая... В том числе и в Средней Азии, в ущерб гидростроительству. Возмущенная Азия вздымает руки в сторону Мекки: «А ирригация?»

И вот, когда наконец есть окончательное мнение по этому вопросу – в Средней Азии ГЭС, везде, где нужно и можно ГЭС по оптимальным перспективам, всплывает человек, перед энергией которого устоять никому не дано. И потому идет Нурек, проектируется Нурек. Водохранилище минимальное как ирригационное, электроэнергию девать пока некуда, да и строить тоже некому. На Головной ГЭС Вахшского каскада только перекроются через год, а перекрытие – это лишь начало строительства. Мамаканскую ГЭС пустят не ранее, чем через два года. Это только газетная сказка, что ГЭС строят ударные комсомольцы, ГЭС строят гидростроители! Потомственные. Специалисты. Ударные комсомольцы, хлебнув романтики, каждые полгода сменяются новыми, это статистика.

А на Нарыне уже есть база в Шамалды-Сае, только что пущена первая ГЭС каскада, внизу – Ферганская долина, которую весной заливают паводки, а к концу лета ей не хватает воды, а Голодной степи и вовсе ничего не достается.

Но руководителю отдела Вахша нужно было отхватить престижный заказ сегодня, а не годом-двумя позже. А старый директор, Дед, как его называли, хочет спокойно дожить до почетной пенсии, и поэтому все замечательно и ура, что есть проект города Нурека, который пока некому строить, да и не для кого. И это не ирригация, зачем же было воздевать руки в сторону Мекки и бить себя в грудь?

В грудь себя бил уже один только Жихарев: «Мы же САО! САО! Средне-Азиатское отделение! Мы должны отстаивать интересы маловодных земель, а не пробивного дельца!»

О Музгоре – не заикайтесь. Перспективщики уже всем надоели и выглядели на совещаниях если не идиотами, то маньяками точно. Крики прекратились, когда поезд ушел окончательно. Нурек уже строился, как – это видела и Шкулепова, попавшая туда сразу после ВУЗа, – на домах даже не могли толком пригнать панели блоков, и они заваливались, как карточные. Дело двигалось лишь за счёт душанбинцев, которых посылали туда, как посылают на картошку и хлопок. А что могли построить ударные комсомольцы и таджики из окрестных кишлаков, у которых не было никакого строительного опыта на предложенном уровне?

Когда вопрос был решен окончательно, Даля Озоева, самый молодой специалист отдела перспективного проектирования сложила в папки все объяснительные записки, ватманы и синьки – их требовали сдать в архив. Кто-то, кивнув на эти плоды их трудов, в порядке бреда предложил отправить всё в ЦК или дождаться приезда в Ташкент Никиты Сергеевича Хрущёва. Даля укладывала папки и относила их в архив, но она была еще очень молодым специалистом, и ей трудно было расстаться с мыслью о разумной оптимальности проектирования. Она унесла домой два демонстрационных чертежа с таблицами и объяснительную записку к ним – самую сжатую и убедительную.

Когда в Ташкент приехал Хрущёв, Даля свернула чертежи в трубку, взяла тоненькую папку с объяснительной запиской и срезала все мамины гвоздики под окном. Она позвонила в приемную и узнала, в каком месте должен их институт встречать правительственный кортеж, когда тот проследует через город. Она навсегда запомнила столбы под номерами 132 и 133 на проспекте Абая, закрепленные за их институтом, и веселые глаза милиционера, заглянувшего в свернутые чертежи, как в позорную трубу. Со своими очками и смоляной косой до подколенок она вполне могла сойти за студенточку.

Переходя улицу, она помахала свернутой трубкой чертежей возвышавшемуся над толпой Жихареву, сразу закоченевшему при виде Дали. Даля сказала ему: «Я сама». «Нет, ты этого не сделаешь». «Там видно будет. Может быть, да. Может, нет. Посмотрим».

Он отобрал чертежи, но папка осталась у нее.

Никто особо не обратил внимания на девушку в национальном платье с красными гвоздиками и тоненькой папкой подмышкой, державшую за руку тридцатилетнего балбеса с чертежом. Девушка успела отдать Хрущеву папку и гвоздики, а чертежи Жихареву пришлось почти кинуть, крича при этом: «Там моя фамилия есть! В спецификации!»

Никита Сергеевич поднял вверх сложенные ладони, приветственно потряс ими. И потом считал Музтор своим крестником. Может быть, поэтому его и законсервировали в шестьдесят седьмом году. Хотя годом раньше было ташкентское землетрясение, и еще тогда всё и всем урезали до последней возможности.

Жихарев остался руководителем отдела, а с Дедом случился инфаркт, и главного инженера перевели в директоры, а руководителя отдела Вахша – в главные инженеры. И ему стало начхать и на Нурек, и на отдел Вахша. Потому что для него было важно собственно место, а не дело, да и не было у него собственного дела.

А Карпинский под танк ляжет за свою плотину.

Именно это он и сказал Шкулеповой. И еще сказал, чтобы покончить со всеми недомолвками:

– Кампарата всё равно будет. Только неизвестно, какая она будет. Я хотел взывную. И только поэтому впутал тебя. Но если опытная плотина не получится, нам придется выбирать другой тип. Возможно, с внутренним нефильтрационным телом. Возможно, гравитационную, хотя там очень слабые склоны. И поэтому я форсирую. Потому что не знаю, какая она будет, если не направленным взрывом. И с внутренним дроблением. Я должен знать. Имею право.

Шкулепова долго смотрела на него.

– Спасибо. Все это нужно было сказать на берегу. Я тоже должна знать. Имею право. – Она взяла из кайдашевской коробки «Казбека» папиросину – Когда ты научился так вертеться? Нынче за правом стоят в очереди. Тем более, на престижную работу.

Папироса, которую она вертела в руках, лопнула, крошки табака просыпались на стол. Понемногу успокаиваясь, она водила пальцем по столу, по табачным крошкам. Потом тряхнула головой, улыбнулась.

– По крайней мере, первый довод уже есть. И, может быть, самый веский. Или ты хотел стукнуть меня этим прямо в разговоре со строителями?

За Карпинского вступился Кайдаш:

– Не сердитесь на него, он хороший парень. – Он улыбался. Ему нравились эти ребята. – Но, конечно, под уздцы его придерживать надо.

– Осталось выяснить, где он еще передёрнул, и можно идти к строителям под лозунгом «повинную голову меч не сечёт».

Покаявшийся, просветлённый Карпинский снова напрягся:

– Ну, это ты брось, Шкулепова.

– Лучше выкладывай, где ты еще нашкодил. Кызыл-Таш – прекрасное место на земле еще и потому, что там можно не лукавить, нет надобности, понимаешь?

– Все течёт, все меняется. Ты сколько там не была?

– Пять лет.

Ей объяснили: Кызыл-Таш сейчас другой, почти завод, бетон в три смены, от того, что было, мало чего осталось, молодость, в общем-то, прошла...

Она притихла, внутри всё как бы затаилось.

5. Давай вернёмся на семь лет назад

Музтор начинался одним махом, огромной приливной волной – строители, уже справившиеся с возведением первой ГЭС Нарынского каскада, поставили палатки и били дорогу к створу, равняли террасы в пойме левобережного притока, ставили первые щитовые дома и двухкомнатные «педеушки», собиравшиеся из двух, похожих на вагончики блоков, сложенных вместе широкой стороной. А из проектов не было ничего – ни проекта самой ГЭС, ни посёлка, ни дорог, ни даже, кажется, геологического обоснования. И на Музтор нагнали народу из проектных организаций всего Союза – киевляне проектировали промбазы; малый бетонный завод и гравийный – ленинградцы, куйбышевцы – организацию производства работ, дороги – тбилисцы, прекрасно певшие по вечерам... И только посёлок и плотину оставили Ташкенту, упустившему два года и уже не могущему справиться со всем. Естественно, ничего не было и по туннелям, даже на уровне технического обоснования. В Спецпроекте тут же была сколочена ударная группа рабочего проектирования, и Шкулепову отправили туда прямо из Нурека, даже не вызвав на перекомандировку в Москву. Был конец октября, в Нуреке стояла по-летнему теплая осень, в Душанбе лил дождь, в аэропорту всем отлетающим, независимо от направления, делали противохолерные прививки... В Ташкенте лепил мокрый снег, а Шамалды-Сай, посёлок первой ГЭС Нарынского каскада, ставший в ту осень перевалочной базой и проектным центром, встретил морозом и едва прикрывшим землю снегом. Промерзшая, в светлом плащике, Алиса добежит до почты и даст телеграмму маме: «Срочно вышли пальто, здесь настоящая зима!» Мама с перепугу вышлет и валенки...

Кресла из актового зала Нарын ГЭС были вынесены, а сам зал, с наклонённым в сторону сцены полом – сплошь заставлен письменными столами, но их всё равно не хватало, и за некоторыми сидели по двое, лицом друг к другу или с торцов. Была какая-то весёлая странность в этих наклонённых столах, а на сцене стояли две большие школьные доски и рояль, на котором иногда играли те, кого в детстве учили музыке.

Народу было много, был он, в основном, молодой, собран со всех концов страны, с разным опытом, с разными подходами, информацией и даже типом мышления, и многие сложные вопросы – узловые, на стыке интересов и территорий, и те, с которыми никогда и никому не приходилось иметь дела, часто решались в порядке трепа или общего «мозгового удара». Кто-то взбирался на сцену, рисовал на доске свои проблемы и обращался к залу: «Товарищи!» Все предложения с мест, даже самые нелепые, выслушивались, и всегда находилось единственно оптимальное на сегодняшний день решение. Это рождало удивительно радостное ощущение – мы можем всё! Так было и с отводным строительным туннелем – его почти решено было бить на левом берегу – и достаточно длинным – ташкентцы не исключали вероятности широкой насыпной плотины. Но приехавший из Кызыл-Таша красавец главный инженер в два счета доказал её невозможность из-за отсутствия больших карьеров щебня в округе, перечислил автозаводы и их мощности на перспективу не могущие обеспечить транспортом и половины начатых строек, и т. д. и т. п. Длина туннеля при бетонной плотине сокращалась метров на триста, и уже была нарисована на доске излучина реки, охватывающая правый берег, и, кажется, первыми сказали тбилисцы: «А что, если?» Потому что развязка дороги на левом берегу, совершенно отвесном у створа, требовала больших проходческих работ, высокого скола склона. И строительный туннель, замкнув излучину, перенесли на правый берег, где дорога уже была, едва пробитая, осыпающаяся и узкая, но все-таки была...

* * *

В воскресенье Карпинский показывал Алисе новый Ташкент, ставшее, застывшее в архитектуре время, знаки богатства, а не жизни. Восстановленный после землетрясения глинобитный Ташкент превратился в современный город с подчеркнuto восточным колоритом от множества голубых изразцовых куполов, венчающих не только мечети. А она помнила год землетрясения, стойкий запах беды, запах гари и глины разрушенных очагов, тонкую пыль этой пересохшей за века глины в воздухе, палатки вдоль улицы Чайковского; большие, типа асфальтовых, котлы с пловом – запах общей еды и беды... Плакаты в коридорах САО Гидропроекта – «Трясёмся, но не сдаёмся» и ещё что-то вроде: «И вытри сопли, ты в Ташкенте, а не в Скопле»; и перекрытия этих коридоров, под которые они вставляли при очередном толчке... И огромным шрифтом, через всю газетную полосу: «Ташкентцы, дети мои...» – обращение какого-то аксакала, сочетание слов, от которого до сих пор сдавливало горло.

Был конец февраля, ледяная корочка заморозка на асфальте и неожиданный ночной снег, утром он под напором солнца валился огромными комьями с деревьев, стремительно таял, оседал, тёк ручьями и рушился с крыш, воздух был прохладен и резок, и только тогда осознался, принялся новый Ташкент – напористой благодатью погоды, непокрытой головой, замёрзшими без перчаток руками... А в Москве не течёт, не тает, не светит так жарко, не звенит от капли, не знобит от резкого воздуха... Они зашли в кассы Аэрофлота, и она взяла билет на следующий день, хотя поначалу собиралась лететь вместе с Карпинским и Кайдашем; но билет был, и она уехала на день раньше, чтоб не выбивать «барабанную дробь хвостом» еще один день... И даже успела на последний двенадцатичасовой автобус, который шёл из Оша в сторону Кызыл-Таша.

* * *

В «Верхней» гостинице, возле которой останавливался автобус, мест не было, но с завтрашнего дня для Алисы заказано место в нижней, построенной архитектором Мазановым замечательной «Бастилии», получившей своё название из-за средневекового вида лестничной башни и дренажного рва со стороны озера.

Какое значение имело наличие или отсутствие места в гостинице, когда над головой всеми своими полутора тысячами метров вздымался родной хребет, срывшийся ей с внятной яви. На седловине блестела какая-то игла, а дальше выглядывал двугорбый силуэт следующего хребта, уже за Нарыном, и весь абрис, как единый росчерк, расписывался в своем существовании и постоянстве... Поселок всё также спускался к реке террасами, мостовые и тротуары с арыками выписывали знакомые выражи, а одна из улиц называлась улицей Бокомбаева, оставалось только найти дом 5а и постучать в дверь.

И незачем звонить заму начальника по быту Шепитько, как ей советовали в «Верхней», пусть кто-нибудь другой звонит, он и сам двигался ей навстречу, знакомо припадая на правую ногу. Но дом 5а отыскался раньше, калитка отпиралась самым простым способом: «Матрёна, проводи гостей и запри дверь на щеколду». Алиса поднялась на крылечко и перевела дыхание, а мэр города приостановился, стараясь рассмотреть её в сумерках через огромно разросшийся, сквозящий куст сирени. Дверь оказалась незапертой, за дверью стояла девочка в голубой ленточке и шоколадный куртцхаар.

– Инка, – сказала Алиса, куртцхаар залаял, а девочка обернулась в комнаты:

– Мама, тут какая-то тётя...

И все. Можно расслабиться и, прислоняясь к косяку, ждать, когда к тебе выйдут и узнают. Светланино «здрас...» за миг до узнавания, а ты уже видишь её бледность и неожиданную

худобу, лыжные брюки и голубую ленточку дочери, поддерживающую надо лбом такую же массу светлых волос...

– Ой, Люся! – охнула Светлана, – и тут же, сразу: – Я так и знала, что ты приедешь, возьмёшь и приедешь! Инка, это же тётя Алиса, лиса Алиса!

Светлана взялась двумя руками за отвороты её пальто, помогая раздеться, не удержавшись, ткнулась лицом в шею.

– Люська! – Они обнялись, прижались друг к другу.

– Светка! Ты что ж такая худышка?

Светлана вешала пальто тонкими руками, шла впереди на кухню.

– Да вот второго собиралась родить, да не вышло ничего... Больше и пытаться не буду только Инку сиротой оставлю... Мальчишка был бы...

И бабья теплота друг к другу – пили чай на кухне, потом сидели рядышком, вспоминали прошлое, рассказывали о прожитом врозь и о теперешнем.

– А Володька как?

– Да все также, приедет – увидишь! На работе никогда голоса не повысит, дома пар выпускает. Увидишь ещё... Выдали вы меня замуж, ничего не скажешь!

– А ты и ни при чем была!

– Конечно. Вышла бы за Лёву, чего там.

– Ну да! Котомин бы тогда всю общагу разнёс! И так... все ручки от дверей поотрывал!

– А ручки-то когда?

– Ну, снаружи – это в комнату ломился, а внутри, наоборот, из комнаты... Отлетел вместе с ручкой и растянулся. Это когда они с Юркой, поддатые, дружески хлопали друг друга по плечу, «Ты, ты!» Все сильнее и сильнее, пока не сцепились. И Котомин вывихнул большой палец. Я его затащила в комнату и закрыла дверь на ключ. А эти гаврики ходили под дверью и вопили: «Выходи, Котома, все одно побьём!» Я вправляла ему палец, а он то рыдал: «Шкулепова, больно», то рвался морды бить. Ой, он тогда сшиб с тумбочки ведро с водой, сидит в луже, а я вокруг него воду тряпкой собираю.

– Что-то я не помню про ведро.

– А тебе не рассказывали. Смягчали.

Светлана смеётся:

– А помнишь, как Юрка, чтобы сократить дорогу из туалета, полез через забор и повис на штaketине – «Котома, сыми меня, я немного забалдел!» А мы в этот туалет ходили в дождь в большой соломенной шляпе, вместо зонта, помнишь? А Малышка долго её надевала, отправляясь в туалет... Господи, дурь из нас лезла, но как же мы хорошо жили! Иногда говорят – счастье, счастье... А я, когда про счастье говорят, вспоминаю, как мы втроем дома сидим и хохочем. И чего мы тогда всё смеялись, а? Даже архитектор Мазанов говорил – «пойти в общагу, послушать, как девки смеются...» Я с Володькой и смеяться разучилась.

– Малышка как-то позвала меня во ВГИК курсовую работу посмотреть. Там в перерывах пленку крутили – Малышка смеётся – и все ходят как под кайфом.

– Я думала, она хоть там затеряется!

– Она затеряется, как же. Заходишь, везде красотки, красотки, а потом Малышка летит, глаза от любопытства на полметра впереди лица...

– Точно!

Котомин действительно пришёл хмурый, разделся, не глядя, кто там с «бабой» его сидит, пока Светлана не сказала:

– Ты хоть с гостями поздоровайся, что ли!

И он пошёл к ним в носках, нехотя, исподлобья вглядываясь. А потом как рассвет, медленно светлеющее лицо:

– Люся? – легко выдернул её из дивана на середину комнаты. – Ты откуда взялась?

Рванул в гостиницу за чемоданом.

– Сейчас привезу! С Инкой в комнате будешь спать, а ты даже и не предложила, телка!

Быстро натянул сапоги, хлопнула дверь, заурчал, укатил газик.

– Вот так всю жизнь, – улыбается Светлана, – упреки, подозренья...

6. Котомин – ныне главный взрывник и постыдные фейерверки молодости

...На груди у Котомина шрам – пырнул себя ножом. Шкулепова тут ни при чём, разве что спасала – перевязывала, сев ему на ноги, чтоб не брыкался. Но когда она уехала, и говорили «Шкулепова», он сразу чувствовал этот шрам, словно по нему царапали. Дурак, конечно, приехал сюда – сплошной зажим, сплошной волдырь самолюбия, только нутром знаешь, уверен в потенциальных своих возможностях и силах, за неимением выхода ударявших в голову. И наследственное, от отца – честолюбие, и болезненное, до потери чувства юмора, самолюбие от матери... Светку, с этой массой светлых волос, беспечным смехом, он ещё раньше в поселке засёк и очень обрадовался, когда она тоже оказалась здесь, в ИТРовской общаге, – «Врёшь, теперь не уйдёшь». – А она каблучками цок-цок до Левиных дверей. «Чего ты все смеёшься-то?» – «А что мне, плакать?» Тон-то поначалу девки задавали, вот эта троица. Он даже сразу не понял, что к чему, потом изумился – большая фонотека, книги во всю стену, откуда, с собой навезли, что ли? Навезли и все окрестные кишлаки объездили, тогда в кишлаках что хочешь можно было купить. Новалиса, например. Или подарочное издание Дон Кихота, или собрание сочинений Томаса Манна. Они хохотали у себя в комнате, и постоянно у них кто-то торчал, кто-то ставил крепления на лыжи, что-то приколачивал, москвичи, альпинисты, чёрте кто... Его тянуло туда, где за дверью можно было услышать тихую музыку и среди ночи, после третьей смены. И он стучал, придумывая, что нет хлеба или ещё чего. Но в первый раз действительно хлеба не было, а были колбаса и кефир, и только у девчонок из-под двери пробивалась полоска света. Светка спала, а обе Люськи сидели друг против друга, и Шкулепова пальцами убирала со щёк дорожки слез. Тогда он так и не понял, как можно плакать над этой радостью, которая было все-таки радостью – радостью несмотря и радостью через. И это слилось навсегда – тихая музыка, слезы Шкулеповой и светящиеся Светкины волосы – на её подушке, а не на Левиной, такая печаль и радость.

Потом Светлана объяснила ему, что Шкулепова всегда рыдала над «1812 годом» Чайковского и каким-то концертом Рахманинова безотносительно личных переживаний, а тогда он подумал, что у неё что-то связано с этой пластинкой, что она что-то уже пережила, и, видимо, старше, чем выглядит. Но они были одногодки, вот Светка оказалась постарше, почти на два года, а Шкулепова ровесница, в месяц разница, в февраль. А самая младшая – Люська маленькая.

У Шкулеповой самоуверенность – до полного отсутствия желания нравиться кому бы то ни было, во всяком случае, мужикам. Все или почти все в те времена подкрашивались, ходили по коридору в бигудях, начесывали волосы, выстраивали у себя на головах халы всякие или как там у них это называлось. А тут – ни краски, ни прически – ровно отрезанные прямые волосы, которые она, небрежно собрав, затыкала шпилькой на затылке, машинально, не говоря уж о том, чтобы смотреться при этом зеркало. Постоянно падающая на глаза прядь, постоянно рассыпающиеся по плечам волосы и поиски выпавшей шпильки с отсутствующим видом. Но слушает внимательно, а глаза твердые, серьёзные глаза с белком в синеву, в которые не так-то просто смотреть. И ты спотыкаешься об этот взгляд, сбиваешься. А она отворачивается, волосы завешивают лицо. И всё, привет! Дальше вас слушать не будут Неинтересно. И ты злишься, да слушай же, я ведь что хотел сказать! А что ж я собственно хотел сказать? И вразнос – ты думаешь, ты одна такая умная? Тебе говорят, так ты выслушай, а потом нос вори! И её удивление, даже виноватость во взгляде, и уже смотрит в глаза, заглядывает в лицо – Ну что ты, что ты! И бесящее сочувствие. Но всегда было немного не по себе, вдруг посмотрит через плечо и отвернется – дальше вас слушать не будут! Как она умеет это делать, он видел. А Малышка сидит при этом и тарашит глаза, словно под тобой вот-вот взорвется

стул, и ей неслыханно интересно, как это будет. Ну, «Малышка» – это так, для смеха, и младшенькая опять же, сразу после техникума, и Малышева, а на самом деле – будь здоров, ростом со Шкулепову да здоровяк, и талия широковата, будто смазана. Это, говорит, расти перестала, и спорт бросила. Все на диете сидела – целый день не ест, а вечером натрескается – пропади всё пропадом! Даже таблетки какие-то ела для похудения, её подначивали – Малявка, ты, видно, больно много этих таблеток ешь...

* * *

Поначалу он хотел застрелиться из ружья, причем самым классическим способом, уже ботинок снял... Ружье выбил ввалившийся следом Юра Четверухин, грохнул выстрел. Котомин рванул со стены охотничий нож, но Юрка успел подхватить его под локти, выворачивая руки за спину, и они покатались. Юрка норовил прижать его к полу, но он все-таки приподнялся и сунул нож между грудью и полом. Нож попал на ребро и соскочил, выкраивая кусок тела, и уже со стыда, наверное, Котомин постарался, чтобы этот кусок был побольше. И тут только Светка закричала. И отчетливое – что ж я, дурак, делаю?

И не вспомнить теперь уже, что ж нам было такого, почему «дурак ты, Вова», сказанное Светкой, оказалось последней каплей. Она беременная была тогда и, осторожно ступая, шла по наледи, держась за его рукав. Он вырвался, держалась-то она слабо. Ах, дурак, чего ж ты с дураком-то живёшь? Но теперь он знал, что вспоминать не вспомнишь, не во «вспомнить» дело, дело было в «понять». А понять он тогда ещё не мог. Если б мог, то стал бы спокойным и уверенным, как тот же Багин, скажем. Но тогда ему не хватало именно навыка соотносить себя и окружающих, себя и мир. И отсюда стрельба и прочие фейерверки. Было только ощущение почти подсознательное, клеточное, своей самости...

И объяснение было одно – «по пьянке». Ему и трезвому адреналин так шибал в голову, что ничего не видел, кроме красного тумана. Когда по самолюбию. По пьянке, по молодости, по самолюбию... Эмоции заливают мозги, и ничего не можешь объяснить или доказать, только орёшь какую-то корявую глупость.

А до этого и вовсе темно: ну, Новый год, ну, компания человек двадцать, их уже слишком много для одной компании, и все это у архитекторов Мазановых. И почему-то там оказались Багин с женой, и Шкулепова с Багиным пляшут какую-то несусветную цыганщину. Шкулепова в шали и босиком, а её новенькие туфли на шпильках кто-то ставит на тарелке на стол. И багинская жена, перекрывая всех и вся, насмешливо и сипло: «Ох, ох, любишь же ты, Шкулепова, покрасоваться!»

И как ни прокручивай в памяти этот танец, всё ещё так чисто, светло, так открыто для всех и завидно радостно друг к другу, что пока что между Шкулеповой и Багиным...

А потом какой-то спор, обычный, хлебом не корми, а дай поговорить о мировых проблемах И Светлана одергивает его, но он ещё не заводится, нет Потом – продолжение уже на кухне, что-то об однопартийной и двухпартийной системах. Кто-то говорит, что зачем нам, скажем, в Кызыл-Таше две партии? К примеру, партия Тереха и... Нет, говорит Шкулепова, две партии, и пусть они между собой разбираются, а Тереха и всех нас оставят в покое. Правильно, соглашается Котомин, и мы будем пахать, как пахали, и ещё лучше. И давайте за это выпьем. Кто-то заявляет, что внутри партии могут organizоваться какие-то порядочные силы, а циничный Мазанов выдает громогласное: Ха! Что порядочные силы по мере карьерного роста или отсеиваются, или перестают ими быть. А Багин говорит, что таковые вообще не идут на партийную работу. И уже хороший Котомин хватается за рубашку на груди: А ты зачем в партию вступил? И Багин спокойно отдирает его от себя: «Чтобы иметь право голоса».

Котомин мог с полным правом ухватить Багина за грудки года через полтора, когда Шкулепова зеркалку выдала – чертёж в зеркальном исполнении. А кому бы тогда пришлось в голову

проверять Шкулепову которая всегда работала, как две очень хорошие вычислительные установки и даже лучше? Сама по себе ошибка не дала бы такого эффекта и, скорее всего, попала бы в разряд казусов, редко, но всё же случающихся, не совпади она по закону подлости с тектоническим разломом. И Котомин заделал такой вывал – месяц латали. Багин к тому времени стал начальником технадзора, прибежал на горяченькое, как же. Вот тогда Котомин мог ухватить его за грудки и с полным правом приложить к стенке, к арке, к чему угодно! Но он только сказал: катись-ка ты отсюда, а? Подобру-поздорову. И даже не оглянулся. Знал, что через минуту Багина здесь не будет И его не стало.

* * *

А тогда кровавое пятно расплывалось по рубашке, ахнувшая Малышка бросилась вон – за «скорой», Юра приподнял Котомину за руки, за плечи, почти посадил, Шкулепова говорила: «Всё, Володя, всё» и прижимала котоминские ноги к полу руками и коленками. «Света, простыню!» И почти села коленками на его мослы при очередной попытке взбрыкнуть. Он и сам понимал, что всё, но дернулся ещё разок, хотя у Шкулеповой лицо было, как простыня, и такие же губы. Когда она задрала на нем рубашку, кровь совсем ушла с её с лица, и он вдруг начал канючить: «Шкулепова, не говори Багину». Она кивнула и, разодрав простыню вдоль, туго перетянула его по ребрам, а он все канючил: «Шкулепова, только не говори Багину».

Багин прибежал на следующий день, когда у них сидели только свои – Юра, обе Люськи, ну, и они со Светланой. Прибежал и сразу быка за рога: «Я вот раз скажу, а потом – кто старое помянет, тому глаз вон». Котомин успел только глянуть на Шкулепову и тут Люська Маленькая заныла: «Володя, это я сказала, я не знала, что ты просил не говорить». «Очень хорошо, что сказала». Багинский голос звенел, что он говорил? Видимо, что-то о ценности жизни и подлости смерти, да и неважно, что говорил, но голос, но почти крик, но убеждение и просьба... Котомин тогда как-то понял, почему именно Багина любит Шкулепова, а что любит, он понял вчера, что они любят друг друга, и что возможно, сами не знают и не узнают никогда. И в том, что прибежал, и в том, что говорил и как, было столько любви и заботы, и всё это через Шкулепову, или, наоборот, через него к ней, что Котомин подумал, что Шкулепова очень хорошо к нему, Котомину относится, хотя до сих пор не понимал, за что. И хотя убеждал, снимал стыд и тяжесть и отпускал грехи Багин, он тогда подумал ещё, что если есть у него впереди тяжелая минута, то дай, Господи, чтобы в эту минуту рядом оказались Шкулепова и Люська маленькая. Или хотя бы одна Шкулепова. Но лучше, чтоб и Люська маленькая. А Светлана чтоб дома ждала. И только сейчас удивился, почему он тогда подумал про девок «если будет трудная минута», а не о Юрке Четверухине, скажем. Ведь Юрка свой до потрохов, со школы, и сюда вместе приехали, и такой надежный, а девки, ну что с них взять, да и уехали одна за другой. Но вот приехала Шкулепова, сидит, кутается в шарф, с бабой его треплется, и будто всё в жизни встало на свои места. И до чего он Шкулеповой рад! А Саня Птицын как обрадуется, у него ведь день рождения сегодня!

* * *

Котомин ввалился в администраторскую.

– Где чемодан? – увидел клетчатый чемодан и сумку в углу, – это, что ли, шкулеповские?

Дома газик загнал в ограду, вещи поставил на порог, слил воду. Ночами еще подмораживало. За шепитьковским штaketником чем-то шуршал хозяин, бледное в сумерках пятно лица обращено во двор Котоминых.

– Гости приехали?

– Ну.

И уже дома:

– Люсь, надевай красивое платье, длинное и красивое, я тебя к Птицыну в подарок отведу. Не взяла красивого платья? А юбка хоть есть?

– У меня есть красивая косынка, я её бантом на шею повяжу.

– Ну хоть бантом, подарок же! Мы сейчас по посёлку пройдём и соберём всех. Бабы наверно, давно там салаты режут. Нет, мы к Веберам не ходим, к Веберам Манукяны ходят. У Юрки вторая дочь, три месяца. А у Шамрая второй сын. Обойдем всех. – И Светлане: – А ты с Инкой вперед иди, только про Шкулепову ни-ни!

Лицо Шепитько все белело за оградой.

– Вы теперь соседи?

– Ну! Вся жизнь, как видишь, под неусыпным оком! Пошли, Алиса Львовна, Пошли!

7.⁵ Пётр Савельевич Шепитько, зам. начальника по быту, он же – «мэр города», он же – «пионер Петя»

Светлана с дочерью через калитку вышли на улицу, Котомин с женщиной через въезд для машины позади двора, а Пётр Савельевич Шепитько смотрел им вслед. К гостинице не пошли, дальше двинулись, Котомин женщину за плечи обнимает, длинные полы охлёстывают ноги, а у Петра Савельевича в сознании взлетает чёрный флажок тревоги, взлетает и взлетает. Вот оно что, вспомнил он, девица эта раньше здесь работала, в одной комнате со Светланой жила, в ИТРовском общежитии. И флаг-то – чёрный, пиратский – на этом общежитии был водружен, вот откуда флажок! Он тогда не только словам не поверил, глазам не поверил! Подъехал, смотрит – так и есть, чёрный пиратский флаг с черепом и костью, а вместо номерного знака табличка – «ИТРовский тупик». Вот на что образование пошло! Не зря он огорчился, увидев долгополую фигуру прямо по курсу: ну вот, ещё одна моду показывает. Петра Савельевича раздражало всякое отклонение от привычного, как-то уже забылось, что лет пять назад его также возмущали «мини» и сверкающие колени девиц, а теперь и на колени толстых бабищ не обращает внимания. Забылось, что в своё время боролся он с женскими брюками и с узкими – на парнях, восхищаясь, что где-то, как он слышал, эти брюки вспарывали модникам прямо на улицах. Боролся он в своё время и с крашеными волосами, даже заметку в многотиражку написал – о красоте натурального волоса. Долгополая фигура расстроила его как очередная напасть, с которой бороться ему не дадут, и походка была вольная, но не так, чтоб уж очень уверенная, а оно вон ведь что...

Ох, и измотали они его тогда! Ну, флаг приказал снять, табличку оторвал собственноручно, благо для его роста ничего не высоко, так ведь не одно, так другое. Смотришь – ночь на дворе, а весь дом в огнях, бродят из комнаты в комнату, не поймешь, кто где живет. То спинки от кроватей снимут – спинки им, видите ли, помешали, то самодельную афишу на центральной площади повесят, он ведь не понял тогда, упустил эту афишу, думал, настоящая афиша, вот как подделали! А потом носили Птицына на руках по всему посёлку, вместе с этой хоругвью. И не тронь их – Зосим Львович Терех вместе с Карапетом, который тогда по совместительству парторгом управления был, – не дали дело до конца довести – «они же руководители производства, мастера, прорабы, нельзя их перед рабочими срамить!» А надо бы. Чтоб стыдно было перед рабочим классом. Да и с моральным обликом не все там было благополучно. Правда, как ни старались комсомольские патрули, ни разу с поличным не поймали. Только не бывает дыма без огня, ох, не бывает! Эта вот, в длинной шубе, еще выдержанная была, а третья с ними жила! То бутылку в нос суёт нюхать, а в ней бензин вместо предполагаемого спиртного, то тапочками в комсорга запустит или воспитательницу дверью прищемит, а Карапет – «Кого вы им в воспитатели поставили! Им же... академика надо!» Сам-то хорош. Нынче поутихли, конечно, и Птицын, и Котомин, а только все равно – несолидные люди занимают солидные должности. И наоборот. Что наоборот, рассердился Пётр Савельевич сам на себя, ничего не наоборот, время всему своё место укажет, а Зосим Львович ещё наплачется с ними, помянет мое слово! И чувствуя, как стынет лицо от обиды на неуправляемость жизни, Пётр Савельевич отправился в дом, в свой кабинет, где не позволял жене ничего трогать. Сел к столу, положил перед собой белый лист бумаги и вечное перо. Долго сидел, прежде чем вывести первую строчку: «сегодня у строителей ГЭС праздник.» И отпустило, прошло, сердце радостно отсчитывало в груди вдохновенные, просветленные минуты творчества, и он наконец чувствовал себя тем, кем и должен быть – газетчиком. У него и на титульном листе трудовой книжки написано – «газетчик», с

⁵ Эту информацию Н. Самарская рекомендовала дать как-то опосредствованно, а не через Петра Савельевича.

шестнадцать лет написано! И ничего, что в книжке – шофер третьего класса, механик, завгар, парторг и так – до Зама начальника строительства по быту. Так сложилась жизнь, на все более ответственные посты выдвигала его, и не сбылась мечта в том объёме, о котором мечталось. Разве маленькая заметка выйдет, да и то урежут, сократят – однажды так сократили, что вместо компрессорного агрегата – ГЭС запустили. Очень Зосим Львович рассердился тогда, сгоряча совсем писать запретил. А только свой брат корреспондент все равно выделяет его, первым делом к нему идут, первая информация – из его рук. Да и о нём спрашивают, о жизненном пути и вообще. Не удержишься, расскажешь что-нибудь, а они и напишут, значит, интересна его жизнь для широкого читателя. А Зосим Львович опять сердится. В последний раз спросили у него, не фронтовик ли, нога вот... Не удержался, рассказал, как пионером не побоялся, сообщил куда надо про кулака, прячущего хлеб, и повесить его враги хотели, как Павлика Морозова, но он сорвался с петли, и вот, нога... Про ногу он зря, конечно, Ах, сюжеты, сюжеты, каких он только не примерял на свою жизнь!

Он достал из бокового ящика тетрадку, в которую заносил все важнейшие события, а также всё полезное и поучительное, что слышал от Зосима Львовича, со своими комментариями. Возможно, когда-нибудь он напишет книгу об этом грандиозном строительстве и о Зосиме Львовиче Терехе, его начальнике. Пётр Савельевич открыл тетрадку. Прежде чем приступить к новой записи, он читал что-нибудь наугад. «Велик и могуч советский народ!» сказал на это не верящим Зосим Львович, и такая сила прозвучала в его словах, что все поверили – «сможем!»

Петр Савельевич не удержался, всю тетрадь прочёл, от корки до корки – ах, какая основа! Какая книга может получиться! Он напишет все с самого начала, как все начиналось, как мужал коллектив, как... И тут услышал, вдалеке Птицын вопит на всю улицу: «Отелло, мавр венецианский, один домишко посещал! И следом грянул хор: «Шекспир узнал про его дело и водевильчик написал!»

Шуму будто человек сто идет. А поселок уже спит, между прочим, людям на работу завтра. Пётр Савельевич погасил настольную лампу. Выглянул в окно – действительно, толпа. Выйти бы, приструнить, но они сами притихли, остановились у его калитки, только хихикают и громыхают чем-то. То ли калитку на цепь замкнут, то ли еще чего сотворят. Погромыхали и перестали, к котоминскому дому направились. Прощаются. Разошлись, слава Тебе, Господи!

Ну так и есть, афиша от кинотеатра! Не поленились, притащили! «Блеск и нищета куртизанок!»

8. Саня Птицын во всей своей красе

Алиса с Котоминым зашли по дороге за Юрой, теперь уже Юрием Андреевичем Четверухиным, начальником участка плотины, но «куда мне до Котомы», который теперь главный инженер управления туннельных работ. Ерничавший Котомин встал в позу памятника: «Я с детства знал, что меня ждет должность!»

У манукяновских детей точеные отцовские лица, а волосы и глаза светлые, мамины... Шамраевский Акселерат вымахал выше отца, это в восьмом-то классе – «В девятом! – он приветливо взглянул на Алису. – Что-то я вас не припоминаю... – вдруг вспомнил, – А, вы подруга тети Люси Малышевой! У вас еще были длинные волосы! Зря вы их отрезали...» Повернулся к ней шамраевским профилем овна. Отец вынес на согнутом локте младшенького, Пацифиста, стал уговаривать его «стукнуть» тетю. Акселерат улыбался, младшенький что есть сил заводил за спину руку со сжатым кулачком. «Ты бы лучше папу стукнул», – сказала Алиса. Но малыш не желал «стукать» и папу, хотя Шамрай и пытался проделать это насильно – Пацифист, одним словом. А потом её вели закоулками к дому Сани Птицына, и Котомин кричал ехидным голосом: «А, это та Шкулепова, за которой мужики табуном ходили?» – и ссылаясь на жену пионера Пети, как на первоисточник. А Шкулепова никак не могла припомнить, когда это за ней мужики табуном ходили, и никак не могла взять в толк, кто такой пионер Петя. А это, оказывается, теперь партийная кличка Петра Савельевича Шепитько.

А у Птицыных уже и стол накрыт, и бабоньки в сборе, дети в спальне визжат, а упарившийся в хлопотах именинник требовал себе рюмку водки, от которой совсем сомлел и прилег на диванчик. А бабоньки крутят бутылку и по очереди целуют его. Саня похож на ангела, но объятия открывает исправно.

Алиса прикладывает палец к губам, ловит за горлышко крутящуюся бутылку. И целует его. Саня же никак не может понять, кто это ещё пришел, и, не желая выпасть из кайфа и роли, продолжает лежать с закрытыми глазами, но лицо его с длинными белёсыми ресницами становится озабоченным и как бы даже обиженным. Наконец он приоткрывает один глаз.

– Саня, здравствуй! – смеётся Алиса, и Птицын резко садится.

– Откуда ты, родная, взялась? – он снова хватается Алису в объятия. – Люсь, родная, откуда ты взялась?

Саня это Саня. Он кончал их институт годом раньше, и когда Алиса с Колей Пьяновым тоже распределились в Спецпроект, он как бы взял их под свою опеку, тем более, что Коля пришел в их группу на третьем курсе – год проболел, было у него что-то с сердцем, а на первых двух курсах Саня с Колей учились вместе и были практически неразлучны. И здесь они поначалу держались вместе, но уже втроем. Это потом их прежний руководитель группы, Харрис Григорьевич Пулатходжаев, решив уехать из Кызыл-Таша, послал представление на Птицына вместо себя. И Птицын уехал в Москву, в родную контору за назначением. Харрис Григорьевич остался ждать, все также форель ловил и кормил ухой весь «Кошкин дом», как звали Спецпроект за три небольших пожарчика, и группой руководил. А в Москве всё сомневались и тянули. Птицын успел и в отпуск смотаться, и слух пошел, что вместо него кого-то другого назначат. Все приуныли и стали уговаривать Харриса Григорьевича остаться, а у него пятеро детей, наштопал – когда успел, разъезжая по командировкам? И жена с гипертонией, которой нельзя сюда из-за высоты. А потом всё-таки утвердили Саню Птицына, и на радостях на площади была вывешена афиша – росчерк хребта, а над ним солнышко с соломенным чубчиком и в очках – вылитый Саня. И подпись аршинными буквами: «Только у нас! Инженер-эксцентрик Федор Птицын». Хотя он конечно Саня. Но, что интересно, сына Федей назвал. А далее всякие глупости программы, как и положено. Шкулепова с Колей Пьяновым очень старались, хотя «глупости» сочиняли всем коллективом. Птицын по приезду аккуратно отколол афишу,

свернул её в трубку и с чемоданом, прямым отправился в родную группу. Они тогда большую комнату занимали, в пол щитового дома. Саня, ни на кого не глядя, прошел вперёд, к столу начальника, развернул афишу сурово спросил: «Кто это сделал?»

Все онемели. Вот это да! Шкулепова опомнилась первая, робко пискнула с места: «Этот я».

Птицын расплылся до ушей: «Ну, спасибо, мать! Уважила! А можно, я её себе на память возьму?» и полез к ней целоваться.

Тут все завопили, парни подхватили Птицына на руки, на плечи и понесли на улицу и дальше – мимо почты, мимо гостиницы, мимо роддома и магазина к зелёному вагончику обмывать должность. А потом в обратном порядке, мимо магазина, роддома, управления строительства назад, на должность, а Птицын сидел и размахивал бутылкой.

Можно, конечно, вспомнить, и как Птицына снимали с этой должности, вернее, как он сам себя с неё низложил, потому что «народу стало много, за всеми не уследить», и вообще. Он всю жизнь хотел породу рубить, а потом в баню ходить с веником, детям книжки читать. А на должности ни сна тебе, ни отдыха, ни субботы, понимаешь, ни веника.

Но это конечно, отговорка. А причины, Бог знает, где зарыты. Надо вспоминать еще оттуда, когда Птицын женился, но не оженился, как хохол Хоменко говорил. Это теперь он на Жене своей женат, а женился, но не оженился он на Наталье, была тогда такая – вся мягкая, женственность и слабость, руки-ноги какие – не передать. А в те времена ещё мини носили, так и вовсе с ума сдвинешься. Но Птицын головы не терял, жениться собирался основательно, тем более, что пора, и Наталья хозяйственная и строгая, и ей пора – не маленькая. Очень они тогда основательно собирались, на Саню смотреть – так смех брал, а Наталья трогала до слёз. Птицын ухаживал по всем правилам – вечерами в кино водил, потом чай у невесты распивал, потел, никаких тебе романсов вместе с Шаляпиным, Шаляпин на пластинке крутится, а Саня на полу лежачи, подпевает. Так вот, ничего такого, всё о жизни будущей. И напугал ведь. Наталья поначалу горе-любовь свою к женатому Фариду Амиранову верёвочкой завила, а потом тоска в глазах появилась и страх. Сидит, вся мягкая такая, ласковая, руками мягкими себя обхватила, а лицо как бы отдельно – испуганное, потемневшее и маленькое даже. А девки, что с Натальей жили, шу-шу да и за порог, а Птицын всё про то, как жить будут. Собирался «взвалить всё это и понести». Весь уж в очень большой ответственности. А она ему – в грехе каяться. Тут он и вовсе засуровел. И Наталья как на плаху собралась. Принесли бланки заявлений из поссовета, раньше было как: сегодня заполнили бланк, можно и на дому, а завтра и расписались, чтоб в поссовете не томиться. Ну, принесли бланки, он жене будущей, знамо дело, фамилию менять, а она возьми да и упрись: «Куда уж теперь, не маленькая».

Пошли к Шкулеповой – «Мать, рассуди». Впереди Малышка бежит, об одном тапочке. А Шкулепова после всей этой истории с Багиным, да ребенка скинула, лежит, сама не помнит, на каком свете. На табуретке во весь рост архитектор Мазанов – полку перевешивает, чтоб не клонилась, интерьер упорядочивает – зашёл проведать. И тут Птицын: «Рассуди». – «Да чего вы, – говорит Шкулепова, – какая разница». «Нет, – говорит Саня, – надо, чтоб одно целое». А Наталья: «Он так и всю жизнь будет на меня давить». А он: «Уступи, родная, я тебе потом сто раз уступлю! Надо так». – «Что надо, почему надо-то?» – «Вот чувствую, а объяснить не могу. Надо».

И молчание тяжёлое какое-то, Саня подвернувшейся мочалкой лоб остужает. А потом всё старается в карман её запихнуть, а она не влезает. И вдруг на колени перед Натальей встал, шут гороховый, – «Уступи, а?» И Мазанов, сидевший в углу на стопке книг, привстает с неё: «Ну, вас! Я пошел, у вас тут такая Достоевщина идёт, у меня волосы на голове шевелятся». И все видят: точно, у него волосы дыбом стоят.

И тут Шкулепова решается: «Уступи, Наталья, раз он так чувствует, уступи, а?»

Наталья пишет фамилию, давится слезами: «Ты всегда его любила больше, чем меня!» Да и за дверь. А Птицын стоит посреди комнаты, как пень, в одной руке заявление, в другой – мочалка.

А Шкулепова лежит и думает о Наталье – ведь сейчас точно к Фариду побежит. Встает, тащится за Птицыным, и где-то далеко впереди на дороге видно, как Натаха ткнулась лицом в пиджак Амиранову что, как ворон, последние дни по посёлку кружил. Как вран.

А Птицын то ли сослепу ничего не видел, то ли и вовсе не знал, кто есть кто. Шкулепова всё боялась, как бы он к Наталье не потащился – «Иди домой, хватит, не наседай больше». А потом и вырубилась. Прислонилась к дереву и поползла вниз.

Саня перекинул её на плечо и домой притащил. Расстегнул пальто, а она в крови вся. Тут только он и тухнул как следует.

А потом что, потом пьянка была, весь посёлок собирался у Сани на свадьбе гулять, и весь посёлок напился по случаю отмены свадьбы.

А с должности ушёл, когда Шкулепова зеркалку выдала. Прикрыл. Только она всё равно уехала. Чтоб совсем не помереть, от любви-то.

А Багин что, Багин к тому времени на машине свежеприобретённой по посёлку и окрестностям раскатывал, и зуб уже выбил, и золотой вставил, и дверку сменил: «Променял он тебя, Люсь, на железку, на волгу-матушку». Хотя понятно – машина – утешение слабое.

Птицын же к Котомину в забой подался да с песней: «Я был батальонный разведчик». И так наладился – вечером с сыном вместе по полу ползает, и в баню с веником по субботам ходит. И ежели забурить чего – так это, пожалуйста, хотя Котомин быстро его, как ценный кадр, в прорабы перевёл. И с любимым Шаляпиным поёт после смены, на полу лежа, а Шаляпин наверху, на пластинке крутится. А в забое в основном собственного сочинения – «Я тебя бурю, моя порода! Я люблю твой здоровый силикоз!» и так далее. Специалист.

А теперь сидит Шкулепова на именинах у Птицына и думает: может, и хорошо, что так всё получилось, уж очень всерьёз Наталья его принимала, душу его, понимаешь, русскую, чего она хочет?.. И все эти обряды с жениханием да как жить собирается. Он, может, страдал только, чтобы ответственность за семью чувствовала, по сторонам не смотрела, только чего там, в основном на неё пялились.

А Женя Птицына всерьёз не принимает. Живут вон – рассказывают и сами смеются. И в грехе не каялась, ещё чего – я же у тебя не спрашиваю про твои грехи. А вот фамилию сменила.

Бывает, конечно, доведёт – Женя ну чемоданы собирать. Однажды, пока она, задумав уехать, отзыв из командировки оформляла, билет, Птицын быстренько домой смотался, все собранные вещички в ванну, водой залил. Женя пока сушила – отошла. Цирк, смех и слезы. Так и живут. И тост за Женю, что подобрала, отмыла, замуж взяла, «не побрезговала». И Женя сияет своим большеглазым лицом. И у Феи такие же глаза, в пол лица, и оттого, что детского лица – глаза беззащитны особенно. Даже внутри что-то сжимается. И Женя такая была? А с виду обыкновенная интеллигенточка, руки-ноги как у людей.

Птицын всё-таки не удержался, спросил:

– А Наталью-то видела, нет?

– А что Наталья. Вышла замуж за своего Диму из Мостостроя, три года помоталась за ним – Казарман, Ош, Ташкент, чуть что – Витюшку в охапку, приболеет или что, а до Оша доберется, и уже легче и Витюшке, и на душе. Ползунки-пелёнки между рейсами развесит на кустах, а потом дальше. А теперь Дима большой начальник в Ташкенте. Уже не мотаются по Казарманам и Тюпам. И Наталья там. Знаешь ведь, раз спрашиваешь. И сынуля окреп. – И смеётся, – Она бы и тебя большим начальником сделала, точно! Упустил ты, Саня, своё счастье! – Шкулепова вдруг жалобно так, виновато спрашивает, – Не жалеешь, что не начальник?

– Что ты, Люсь, ты что? Ты это брось, даже в голову не бери! Мне тогда во как надоело всё, с души воротило. А тут повод такой! Удобный. Не было б причины, так и повода не найти.

Ты даже не сомневайся, слышишь? Что это ты в голову взяла?.. Ты лучше расскажи, что там Малышка делает, скоро ли ВГИК свой окончит и нас приедет снимать? Все на диете небось сидит?

– Нет, сейчас по принципу: запас карман не тянет. Когда это студенческая жизнь была сытой, да ещё в чужом городе? Приедет – увидите: селёdochка! К следующему лету и объявится. Она уже договорилась – как только фильм о вас задумают снимать, её ассистентом режиссера возьмут.

– И Малявка приедет, значит! Молодец, Малявка!

Оттого, что и Малышева приедет, и обе Люськи будут здесь, Котомину стало не по себе, и с чего вдруг вспомнилось давнишнее – «если трудная минута, то чтоб обе были рядом?» Светлана вон чуть на тот свет не ушла. Но, слава Богу, выкарабкалась... Слабенькая пока, но ничего, были бы кости. Он даже забыл Манукяну ответить, и теперь тот апеллирует к Шкулеповой:

– Люся! Завтра поедем на створ, посмотришь на их дырки и на нашу плотину и скажешь.

Прямо с утра.

– После обеда, – говорит Котомин, – я ей резиновые сапоги привезу.

Гарик высокомерно взглядывает на него:

– Я её и так не испачкаю.

– Шкулепова наша ведь, а, Манукян?

– Теперь она наша, – говорит Гарик, – раз плотинами занимается. Но мы же говорим, чтоб на честное слово.

Самая обидная фраза для туннельщиков – «Собрались мыши на конгресс» – из какого-то анекдота. Анекдот забылся, фраза осталась. Чуть что – «Ха! Собрались мыши на конгресс!»

– Эх, Шкулепова! – говорит Котомин. – Далась тебе эти плотины, занялась делом, что и мужику не поднять! Тебе бы детишек родить да хозяйкой дома быть, за широкой спиной сидеть! А плотины пусть мужики ворочают.

– Так нету широкой спины, – говорит Алиса и, помолчав, поднимает на него глаза. – Ты уже как-то говорил об этом. Когда мы с Малышкой оставались на Карасуйских озерах, потому что мне вздумалось посмотреть, как устроена перемычка, отделяющая верхнее озеро от нижнего. А вы уходили. И тогда ты говорил что-то в этом духе. Что баба должна слушаться и подчиняться, и не лезть никуда без спросу...

– И оттуда всё и началось, да? Связать надо было тебя, да на ишака. И гнать его до самой автотропы...

– А ишаки тогда сбежали, – смеётся Алиса, – Ещё утром!

9. Естественные озера и плотины

Впервые они пришли на озеро, откуда берёт своё начало левобережный приток, на майские праздники, увидели озеро с завала – неожиданно, до черноты синее. Побежали вниз по острым камням к его чернильной под горячим солнцем синеве. Первой, конечно, добежала Малышка, на ходу снимая с себя одежду, первой кинулась в воду. И вылетела – как пробка. Вода оказалась ледяной, языки льда еще сползали в неё по южному склону. Потом всё равно все купались – солнце жгло немилосердно. Два ослепительных дня и две продрогшие ночи – начало мая и высота около двух тысяч метров сказывались...

А второй раз они пришли туда уже в начале июля и почти все тридцать километров от автотропы прошли ночью, спотыкаясь, чуть ли не на ощупь угадывая слабо белеющую под звездами тропу В их распоряжении был всего один день, а Котомину больше всего хотелось порыбачить на утренней зорьке. Их и взяли довеском к компании рыбаков, и мнения женской половины никто не спрашивал. Светланка уже у самого перевала несколько раз норовила посидеть, но Котомин поднимал её и снова уходил вперед. И ишаки тогда в самом деле были, «мичуринские зайцы», они паслись там, на дороге, то ли далеко ушли от дома, то ли и вовсе были ничьи. На них навьючили девчачьи рюкзаки, и поэтому идти было легко – ночью, тридцать три километра, по каменистой тропе под звездами, в смене воздушных потоков. То влажный воздух реки с запахом мыльника, когда тропа спускалась к воде, расступалось ущелье или излучина опоясывала влажный, в высокой траве луг; то тропа снова становилась шершавой, каменистой, поднималась вверх, и скалы горячо дышали дневным теплом с запахом чабреца и сухих трав. И ошеломляющим было узнавание, чуть не на ощупь, когда-то пройденного пути, по запахам, по воздушным потокам, по едва угадываемой излучине и шапкам трёх чинар на другом берегу.

И рыба тогда ловилась Бог знает как, время отнимала только насадка червей, пока Котомину это не надоело и он, поплевав на крючок, не бросил его пустым. Но рыба хватала и пустой крючок, и Котомин еле остановил разохотившихся рыбаков. Это был странный, какой-то нерепальный день после ночи пути, а вечером нужно было уходить назад, вниз, куда за ними должна была прийти заказанная Гариком Манукяном машина. Они просто ничего не соображали, пребывая в каком-то взвешенном состоянии. Спали понемногу, час-два, где как придется. Алиса тоже поспала, искупалась и, от нечего делать, пошла вниз через завал, посмотреть, как вытекает речка. Она вытекала двумя мощными рукавами, пробиваясь сквозь толщу завала, один выход был повыше, а другой, слева, – пониже и помощнее. Конечно, была и донная фильтрация – у основания казалось, звенит вода в глубине, но, может, это было только обманом слуха.

Она лазала по стыкам того, что летело справа и слева, и вдруг поняла, что всё это сделано не за один раз.

Торопясь, она пробиралась через навал ломаных глыб – углы, поверхности сломов не успели даже заветриться, какая-нибудь тысяча-другая лет всего. Под ними – слой мелкой гранитной щебёнки, цементированный песком и глиной и уплотнённый верхним набросом. По острым сломам камней было трудно идти даже в кедах.

Прибрежная полоса озера оттого, что спала вода, обнажилась мертвенным лунным поясом, но серый цвет острых камней был налетом органической жизни, такой скудной на этой высоте, при холоде и глубине озера. И она долго отмывала один из камешков, чтобы выяснить, что же он такое на самом деле. Такие темно-серые, в синеву граниты шли по левому, южному склону и распадку Волчьих ворот, забитому моренами от не успевающих таять лавин. Под ними, образуя мосты и гроты, бежит Волчий ручей, и ошеломляюще пахнет елями, теми, голубыми, что растут выше Волчьих ворот, тогда уже выпустившими зелёные побеги с оранжевой кисточкой на конце. Южный склон – это не точно, то есть он, конечно, южный, но южный –

тёплое слово, а здесь всё наоборот, южный склон более суровый. У киргизов все гораздо точнее: северный – Кунгей Ала-Тоо – обращенный к солнцу. А южный – Терской Ала-Тоо, даже не знаешь, как это сказать по-русски.

Тропа вдоль озера шла по северному, обращенному к солнцу склону, с хорошо видимым отсюда, за одиннадцать километров по воде, мягким, кажущимся песчаным бережком второго завала, как говорили, отделяющего нижнее озеро от небольшого верхнего. По южному же берегу тропа была только до Волчьих ворот, до последнего летнего выпаса, где стояла юрта. А дальше – уже скалы, и там могли пройти разве элики, в те времена водившиеся там стадами, и их даже можно было заметить на снежных склонах по крошечным снизу галочкам рогов...

Значит, толчка было три, но как могло получиться, что вторым был осыпной, уже сцементированный слой? Случайность, тысячелетние игры природы, так похожие на разумный, хорошо рассчитанный замысел...

Ей очень хотелось посмотреть, как «сделана» перемычка, отделяющая верхнее озеро от нижнего. А перемычки, скорее всего, образовалась параллельно-одновременно, и можно будет увидеть, как сложен берег. Это было сильнее неё – взвешенное ли состояние после бессонной ночи и пути под звездами, нетерпение ли и боязнь, что она не скоро попадет сюда?.. И хотя никого из всей честной компании нельзя было поднять с места, а Малышка ещё не вернулась с Волчьего ручья, – Алиса всё-таки пошла по северной тропе к истоку, прихватив ковбойку – на случай встречи с местным населением и мелкашку – неизвестно для чего.

Одиннадцать километров – это по воде, тропа же вдоль озера была изматывающей – вверх-вниз, экономящая не расстояние и высоту, но близость к воде. Берег изрезан, почти фиорды, за полтора часа Алиса не прошла и четверти пути, хотя это километров шесть-семь. На очередном, самом высоком подъеме тропы, идущей здесь по краю обрыва, она остановилась и огляделась. Озеро лежало глубоко внизу, по его густой синеве тянулась от устья золотая рябь, а там, куда уже падала тень хребта, синева сгущалась до черноты и была неровной, клубящейся бездонным провалом. Красота озера казалось отрешённой и почти зловещей.

Озеро, созданное неведомо для чего, почти недоступное и поднятое к небу. И неожиданность мысли, что это зрелище не для человека, что это – не положено видеть. И порыв ветра, всего один, шум кустов боярышника и шиповника, накатившийся и удаляющийся за спиной. И ледяной холод, стянувший череп. И мелкашка, бесполезная в таких случаях.

Вечером все ушли вниз, к автотропе, а она осталась «выяснять отношения с Богом». С нею осталась Малышка. Вот тогда-то, когда они оставались, Котомин кричал, что у него нет оснований относиться к ней, как к женщине. Женщину он одну бы на озере не оставил. До того он был взбешён. Каприз он ещё мог понять и, если надо, выбить, но тут было другое, с её нетерпением он ничего поделать не мог. А Малышка только смотрела на него умоляющими глазами и пыталась успокоить: «Володя, Володя, у нас ружьё, с темнотой мы ляжем спать и не будем жечь костёр, Володя успокойся». Она боялась, что он скажет что-нибудь непоправимое.

Пройдя совсем немного, примерно половину того, что Шкулепова прошла одна, они едва успели поставить палатку-серебрянку в сае с небольшим ручьём, почти иссякавшим ночью – тучи уже закрывали небо, и первые капли дождя забарабанили по палатке. Оттого, что небо было закрыто тучами, ночь была очень теплой, они мгновенно уснули под шорох дождя и проснулись от голода среди ночи, в темноте, в тишине, с редкими звуками тяжело падающих капель. Хлеба было всего с полбуханки, сырая картошка и с полведра уже очищенной рыбы. Они разожгли небольшой костер, который можно было увидеть разве с того места, где не было никаких троп, и жарили рыбу, насаживая её на прутья. Вокруг сияли мокрые кусты, и не было никакого страха. Потом мылись у озера, пытались глиной смыть сажу с рук. В той стороне, где они останавливались днём, горел большой костёр, в его свете бродили большие ломкие тени, видимо, очередные рыбаки пришли порыбачить. От большого костра на берегу озеро, укрытое, как крылом, облачным покрывалом, казалось обжитым и почти уютным.

Они отправились в путь с рассветом, взяв с собой только хлеб и нож. Алиса надеялась, что там вдруг окажется какой-нибудь обрыв, и можно будет посмотреть, как устроена перемычка. Обрыв в самом деле был – в том месте, где оторвался ледяной припай, и по вертикальному срезу было видно, что перемычка образовалась за счет ледниковых морен и селей, а нижняя – скорее всего образована более ранним, мощным селевым сдвигом, вызвавшим местное землетрясение и обвалы... Они съели хлеб, макая его прямо в озеро, а к верхнему озеру так и не спустились, только посмотрели на него с гребня перемычки. Озеро было светло-зелёным, видимо, неглубоким, промерзало зимой до дна и ещё не совсем оттаяло. Назад они почти бежали, тем более что за нижним озером тропа шла под уклон. Они прошли тогда, наверное, километров семьдесят – тропа вдоль озера никем не меряна, а они прошли её в оба конца, да те тридцать километров, что отделяли озеро от автотропы... Рюкзаки были лёгкие – серебрянка, два одеяла, стеклянная банка с жареной рыбой, пяток картофелин.

К дороге вышли в сумерки, небо светлело только на западе, в разрыве ущелья, но машины, обещанной Гариком Манукяном, не было. У обеих распухли щиколотки, и только это заставило их спуститься к реке и немного подержать ноги в холодной воде. Малышка старалась скормить ей рыбу из банки и не ела сама, уверяя, что она и так не помрёт, а Шкулеповой каждый грамм веса дорог. Что-то без конца шуршало в старом сене, и они все светили спичками, пока не убедились, что это мыши. Одна из них сидела в щели между камней и смотрела оттуда бесстрашными черными бусинами глаз. Речка шумела совсем рядом, в её шуме слышались голоса, они обе различали оклики, даже отдельные слова, голос Гарика и шум машины, выскакивали из кибитки, боясь, что их не найдут. Но всё это был обман слуха и шум речки.

Утром они испекли картошку и съели её без соли. Не было и мыла – ногти в черной рамке, потрескавшиеся, в саже от печеной картошки губы. Они прошли оставшиеся до тракта двенадцать километров автотропы, а потом долго сидели под мостом у самого подъёма на перевал. Машины шли вверх, но не было ни одной в сторону посёлка. Идущие с Чуйской долины могли появиться только к вечеру, но они продолжали сидеть под мостом, в непосредственной близости от дороги, больше спрятаться от солнца было негде.

А потом со стороны поселка свернул на автотропу и, пыля, запрыгал по колдобинам небольшой грузовичок. Они не сомневались, что это за ними, и побежали следом, крича и размахивая руками. Но в кузове сидел Багин с каким-то приезжим человеком, видимо, проверяющим начальником, решившим отдохнуть на рыбалке.

...Даже Багин был намертво привязан к тому дню, к озеру и образовавшему его завалу, всё это сошлось там, завязалось в один тугий узел – вдруг заговоривший завал, озеро, Багин... Которого до того момента и на горизонте не было. Хотя именно там, на горизонте он всегда и маячил, почти вне поля зрения, но мало ли кто там маячил? Только на пионерский вопрос – бывает ли любовь с первого взгляда – она могла ответить совершенно однозначно: любовь – она всегда с первого взгляда. Потом она может состояться или нет, но если её нет с первого взгляда, то, поверьте на слово, уже не будет. Что это – сознание, подсознание или наитие, но это определяется сразу – твой человек или нет. Именно с первого взгляда и даже не обязательно глаза в глаза.

Багин она увидела года за два до озера, ещё на перевалочной базе в Шамалды-Сае, когда Кызыл-Таша как такового и в помине не было. В переполненной гостинице, в большой женской комнате стояло с десяток кроватей, и некоторые спали по двое, как Зоя с Наташей, птицынской незадавшейся женой. А строители ездили на пятидневку вверх, в Кызыл-Таш, вернее, тогда еще в Токтобек-Сай, где были землянки, и били дорогу к створу плотины. Почти все они были с Нарын ГЭС, и семьи их жили в Шамалды-Сае, или попросту в Шамалдах.

Когда выяснилось, что проектировщикам здесь и зимовать, она вместе с Зоей и Наташей сняли времянку у крымских татар (и создавших этот поселок по высылке) и съехали из гостиницы. Кое-как побросали в чемоданы вещи и книги, а что не влезло – в полосатый матрасный

чехол. Она перекинула его через плечо, как носят мешки, чувствуя, что Наташа с Зоей нести его стесняются. А еще пришлось тащить в руке на отлете закоптелую сковородку. Кто-то нёс чемоданы, кажется Кайрат с Колей Пьяновым. Это в кайратовском светло-сером ратиновом пальто она блистала, пока не пришла мамина посылка. Получилась весёлая процессия, которую она замыкала своим мешком в розовую полоску. Они шли через посёлок, останавливались передохнуть, а на Алисе была зеленая Наташкина куртка, из которой почти на четверть выглядывали красные рукава свитера – «вечерний ватник, декольте и рукав три четверти»... Было бы разбоем таскать мешки в роскошном кайратовском пальто.

Она подняла глаза на голос, на смех, это тогда за ней водилось – любить голоса, если они хороши и сложны по оттенкам, и избегать людей с голосами невыразительными, бесцветными. И там, впереди, на снегу, под солнцем стоял человек и что-то, смеясь, говорил, обнимая плечи жены и сияя улыбкой. Распахнутая лётная куртка с меховым нутром, шапка, сбитая на затылок. Она запомнила состояние легкого удушья и бесконтрольную мысль: неужели у таких женщин бывают такие мужья? Он был оттуда, с тропы, с будущего Кызыл-Таша, а жена сидела где-то в управлении и иногда попадалась в коридоре – сонные навывкате глаза, прикрытые тяжёлыми веками, оплывающая фигура пингвина, и сиплый голос. Женщина тоже смеялась, хотя и сипло, стеариново светилась и оплывала к ногам.

Бьющее по глазам несоответствие, непарность – и собственное состояние удушья.

Больше она не смотрела и двинулась со своим мешком дальше, под музыку голоса и смеха.

Ей нравился этот человек – это всё, что она знала о нем последующие два года. А знакома с ним была Малышка, у них даже были какие-то свои подначки, понятные только им. «Привет, Настина дочка», – говорил он ей, и Малышка тут же лезла в драку. На дороге с озера он не долго слушал сбивчивые объяснения Малышки, развернул её за плечо, и они отправились к мосту за рюкзаками. Назад он нёс оба рюкзака в руках, они хохотали, а потом, хохоча, он замахнулся на Малышку рюкзаком, и та со смехом отскочила... Картинки с тропы, намертво въевшиеся в память, даже два куска мыла, которое наперегонки доставали для них Багин и приезжий начальник, запомнились лежащими на влажном камне – розовое и зелёное, и удовольствие от этого мыла и вообще мытья: пыль, усталость – всё уходило, просыхали волосы, голова становилась легкой, а волосы пушистыми. Начальство бегало со спиннингом вдоль реки, трещало кустами, а они лежали на одеяле, разомлевшие от купанья и сознания, что о них теперь позаботится этот человек, о котором она знала только, что он чужой муж. Несоответствие пары было подтверждено Малышкой и не имело ровно никакого значения – мало ли таких, которым симпатизируешь по чувству родственности, схожести, которые потенциально свои люди и, тем не менее, чужие или вовсе незнакомые и, естественно, чужие мужья. С ними легко, и сейчас всё выровняется, и он будет относиться к ней также хорошо, как к Малышке. И хотя встречный интерес ударял в лицо, как горячий ветер, это тогда было – старание, стремление к ровности, доброжелательности, открытости. Уровню доброго знакомства и чисто человеческой симпатии. Такой был курс, на отношения типа Малышкиных. И всё так и будет, пока не сломается осенью, когда она приятельски тронет его за плечо: «Привет», и уже что-то начнет говорить, а он отстранится. Не холодно, а не принимая, отвергая приятельство. И вот тогда она испугается, вдруг осознав уже потребность видеть, слышать, улыбаться навстречу этому человеку и знать, что тебе улыбнутся в ответ. Она замолчит на полуслове, а он обернется к ней таким счастливым лицом, и будет городить чепуху дребезжащим от радости голосом и при этом весело и твёрдо смотреть в глаза – понятно? Голос, похожий на мир, отраженный в стекле, вставленном в трепыхающийся брезент какого-нибудь газика, что катит по ухабистой дороге сквозь кусты, заросли, и отражаются и дрожат в окнах небо, скалы, деревья и забиваются солнечными бликами... Откуда это, с той же тропы?

И что теперь вспоминать, надо спать, ведь Гарик Манукян точно поднимет завтра чуть свет и потащит на плотину. Что вспоминать, в каком из домиков под скалой жил любимый, вспоминать то, что длилось лишь год и семь годов, как минуло?

10. Экскурсия на плотину и посиделки в Бастилии

А плотина пока ещё, ну, семьдесят метров, да и триста не будут смотреться в тысячеметровом провале ущелья, вот облако сползло с неё замечательное – дымно-сизое, в синеву, свисало, дымилось... А на самой плотине и вовсе – брезентовый шатёр, толстые гусеницы двух водоводов и одна из них, ещё не сваренная, чуть раскачивается и вздрагивает своими сочленениями, брызги сварки, фонтанчики полива, полосы горячего воздуха от калориферов, гулкие, похожие на туннели паттерны, временные перильца вокруг колодцев лифтовых клеток – срез по внутренностям всего, что когда-то будет плотиной, зябкая сырость еще не ожившего бетона... И так уже четыре года – слой за слоем, метр за метром. Девочки из лаборатории буквально бросающиеся с датчиками под равняющие бетонную жижу электробульдозеры; тут же смешные электротракторы с навесными пакетами вибраторов, как жуки, залезают в бетонную кашу, опуская туда свои хоботки, урча и даже как бы причмокивая... Небольшие, присоединённые гибким кабелем к щитам питания, эти машинки казались несерьёзными, водимыми на верёвочках детскими игрушками...

Гарик Манукян взахлёб рассказывал, как они им достались, эти электрические самоделки – ведь в бетон не должно попасть ни капли бензина, солярки или там, технических масел. Что благодаря этим машинкам на укладке бетона так мало людей – знаешь, сколько народу пришлось бы нагнать при обычной укладке? А чем платить? При нашей-то бедности... И потом, в обычных, «стаканами», блоках бетон уплотняют ручными вибраторами, машину туда не загонишь, а люди это люди, не догляди – пройдутся по контуру блока, доступному проверке, и привет. А что внутри него – Бог весть. Да любой капиталист, увидь эти самоделки, начал бы штамповать их серийно!.. Вон та машинка, что принимает бетон у крана и вываливает его в блок, с кузовом перед кабиной, короткая, маневренная – тоже сделана на здешней автобазе – представь, если б обычный самосвал, проехав двадцать-тридцать метров, кряхтя поднимал кузов, и водитель всю смену работал бы с вывернутой шеей? Аналогов нет, «Оргэнергострой» пять лет телился, а этой осенью привез своё детище – обхохочешься – целое конструкторское бюро работало – плотина рыдала! Детище снесло лифтовое ограждение, дало задний ход, смяло о надолб крыло, потом въехало в лестничный пролёт, еле выволокли его оттуда. Наши тоже опробовали её – тяжёлая машина, неповоротливая. Повезли назад. Говорили им, – срисуйте наш «нарынёнок» и все дела. Нет, он, видите ли, из узлов разных машин собран. А что ж такого, мы же не завод... Зато пашет!

Как всегда неожиданно выкатилось из-за хребта солнце, со стороны въезда на плотину образовался горячий сияющий задник из синего неба и желтых скал, бетон задымился, задышал, брезент шатра, как любая укутанность, создал эффект бережной заботы, трясущейся над этим создаваемым нутром... Выделились ребра железобетонной опалубки, её лебяжий выгиб, то, что Алиса любила в туннелях – совершенство сопряжений...

А невероятно гордый всем здесь происходящим Гарик Манукян тащил её дальше, в левобережные блоки, а там начальство, Лихачёв, так неожиданно отделившийся от общей группы навстречу им, не узнавший её, но не преминувший смутить. И она смутилась, Ну, такой вот мужик, первый парень на деревне и вообще на пятьсот миль в округе, и знающий об этом... Но как хорошо, что характеры не меняются, что прежними остаются глаза, синими, словно слетающими с лица от любопытства и интереса к жизни. И только после видишь налёт долгой усталости, красные от недосыпания веки, темноту под глазами, но это после – после сияющего света глаз. Такие она видела только у троих человек – у Лихачёва, у Малышки, у Багина... Малышка говорила, что если она что-то не узнает или не сделает из того, что ей хочется узнать или сделать, её разнесёт изнутри, от подпора любопытства или энергии... Вот и Лихачёв такой же.

Он придержал Манукяна, а она прошла дальше, поздоровалась со всеми, а увидев Вебера, всё такого же длинного, тощего и очкастого, ухватилась за отворот его тулупа:

– Дима, привет, – и чуть не ткнулась головой ему в грудь.

– Ты когда приехала?

– Вчера, – и почувствовала, как он напрягся, всегда тяжело перенося легкомысленное к себе отношение, отпустила отворот.

Шамрай спросил:

– Головка бо-бо?

– Нет, – для убедительности она потрясла головой, а подошедший Гарик Манукян сообщил с улыбкой про Лихачёва:

– Спросил, где ты у нас работала.

– Пижон, – сказал Шамрай, – у меня группа две недели с консолью мается, а они наконец проснуться изволили! – он ткнул Манукяна в грудь, – А ты что, не видел, что в седьмую секцию разворот вписывается? А ещё хвастаются, понимаешь, своей сообразительностью!

– Моё дело – чтоб бетон без раковин был, что потом кошку не заводит, мышей не отлавливать.

– Вот побегаешь теперь с седьмой секции туда и обратно.

Шкулепова спросила:

– Жалко консоль?

– Времени жалко. – А так мы за решения большей надёжности. Это строителям – как сделать попроще. Они всегда противятся сложному решению и иногда придумывают что-то дельное.

– А сегодня?

– Во! – он показал большой палец.

* * *

В середине дня Алиса перебралась в гостиницу замечательную мазановскую «Бастилию». Зеленая ковровая дорожка по-прежнему вела через остеклённую галерею в жилой корпус, вдоль стекол стояли горшки с цветами. А слева от входа и конторки администратора, за сварной металлической решеткой, тоже увитой какими-то растениями и обставленной креслами с двух сторон, простирался обширный, обшитый деревянной рейкой холл, служивший при случае банкетным залом. По-прежнему просторно стояли столы с красной пластиковой поверхностью, а в дальнем конце зала, у самой стойки, несколько столов были сдвинуты, и с десятков постельщиков, обвязанных полотенцами вместо фартуков, похоже, лепили пельмени. Значит, Вера Тимофеевна всё так же кормит приезжих своими обедами, собирая в книгу жалоб похвалы наладчиков и министров куриной лапше и пельменям, которые всегда так и лепились – с помощью постояльцев, чаще всего и подвигавших её на них.

Алиса отнесла вещи в номер, разделась и, вымыв руки, вернулась в холл: «Здравствуйте, а меня накормите? Если я тоже полотенцем обвяжусь?» – «Обвязывайся», – последовал ответ. Вера Тимофеевна нарезала тесто, две женщины раскатывали лепёшки, а мужчины быстро и ловко, будто всю жизнь этим занимались, лепили пельмени и складывали их на посыпанную мукой доску.

Алиса обвязалась полотенцем, пристроилась с краешку и тоже принялась лепить. Вера Тимофеевна несколько раз взглядывала на неё, но припомнить не могла, спросила: «Ты откуда?» – «Из Спецпроекта. Я работала раньше здесь». За чем последовало: «То-то я гляжу...» Но тут за открытой дверью кухни что-то зашипело, Вера Тимофеевна подхватила доску с пельменями и кинулась за дверь.

Лепка пельменей подходила к концу, вытирали столы от муки, мыли руки и снимали полотенца, а Вера Тимофеевна в белом халате, стройная, слегка суховатая в свои пятьдесят с лишним лет, уже стояла за стойкой и патриархально сокрушалась по поводу худобы одного из наладчиков, наливая ему тарелку чуть ли не в край.

* * *

Карпинский с Кайдашем приехали тем же рейсом, что и Шкулепова днём раньше, вечером Кайдаш разбирался со здешними геологами в дальнем углу холла, а Алиса с Карпинским сидели в креслах у самой решётки, в ожидании обещавшего подойти Лени Шамрая. К посёлку холл был повернут глухой стеной с узким оконным просветом под самым потолком, а противоположная, сплошь стеклянная стена выходила в сторону озера и разрыва долины между хребтами, плакучие ивы подступали к самым стёклам, шевеля голыми ветвями, в них путалась яркая одинокая звезда. Галерея, ведущая в жилой корпус, замыкала освещенное пространство, подчеркивая почти аквариумную отъединённость и хрупкость уюта вообще в этом месте, в этом мире, что вздымался здесь хребтами, царапался голыми ветками в окно и равнодушно глядел одинокой зеленоватой звездой с ещё светлого, холодного неба.

Шамрай задерживался, и Шкулепова зачем-то рассказывала Карпинскому об архитекторе Мазанове, построившем эту гостиницу, и о том, как Мазанов ходил к ней в авторский надзор и для начала развалил ломиком опалубку фундамента, которая выпирала пузом. Строители требовали выявить и наказать хулиганов, а Мазанов спокойно сказал, что это он сломал, из-за пуза, что это гостиница, а не беременная баба. Начальник Жилстроя стал красный весь, казалось, его вот-вот хватит удар. А перед тем на приёмке жилого дома унитаза в санузле оказался смонтированным точно под раковиной, и конечно, Мазанов отказался подписать акт этой самой приёмки. Строители настаивали, и тогда Мазанов сказал, – хорошо, я подпишу, только вы при мне сядьте на него и встаньте...

Подошедший Шамрай сказал, что Мазанов вообще был хулиган – он и штаб перекрытия пытался сломать чуть ли не в день перекрытия, ухватился за ломик и вопил про завалинку, которую приделали строители – эта завалинка оскорбила его больше любого пуза. Лихачёв тогда оттаскивал его и говорил, что на его взгляд, всё очень неплохо получилось.

Вот Мазанов остался здесь навсегда – своей гостиницей, чайханой на створе, гармошкой навесов рынка, повторявшей гармошку гор... Он и представить себе не мог, что здесь сделают с поймой, осушив её и вообще избавив от речки, загнанной в канал под самым хребтом. Не берег, а сплошной завал, нагромождение камней, на которых вряд ли что-нибудь вырастет и через тысячу лет. Пойму в зарослях облепили, повторяющих змеиный изгиб речки, выровненную до безобразия и заставленную коробками блочных домов и не как-нибудь, а звёздочками соединенных по три четырёхэтажек...

– Ваш Мазанов рванул отсюда сразу, как стройку законсервировали, чего ему с нищими якшаться, – сказал Шамрай.

– Он был архитектор, – сказала Шкулепова, – и не мог только привязывать к местности типовые дома, Он совсем иначе хотел распорядиться поймой, оставить речку как есть, закрепив берега, а общественный центр перенести наверх, на седьмую площадку, замостить площадь плитами и расставить вертикали жилых башен так, чтобы...

– Ага, которые отсюда, снизу, очень хорошо бы смотрелись. Этакий «контрапункт». Это с нашей-то сейсмичностью! Сама-то ты тоже тогда чего-то морщилась.

– Я морщилась на мощные плиты площади – жарко же, голое пространство, как плац...

Мазанов тогда очень сердился, и они, смеясь, решили поделить посёлок на сферы влияния. А потом делили жителей – Мазанову достались строгие и собранные, вроде Вебера, а

им из собранных и строгих достался только Котомин, как Светкин муж. А Саню Птицына они соблазнили должностью придворного акына, только ходи и пой, представляешь? И ему было вменено отрастить до плеч его белобрысые волосы, что по тем временам могло быть принадлежностью только придворного акына... А Малышке разрешалось находиться где вздумается, внизу она ничего не порушит, а у Мазанова оживит пейзаж.

– Ладно, – сказал Карпинский, – с посёлком мы разобрались, теперь разберемся с нашими проблемами.

Шамрай сказал, что с заявкой на опытную плотину у них здесь проблем не будет, заявку напишут и подадут, что проблемы с ней начнутся в министерстве, советовал говорить с Терехом прямо, без всяких экивоков, и добавил, что неплохо бы Лихачёва отвлечь от диссертации и тоже задействовать. Он лучше всех ориентируется в министерской конъюнктуре – до Музтора работал диспетчером министерства, да и связи остались.

– А он согласится? – спросил Карпинский.

– А почему бы и нет? Он женщинам отказывать не умеет, – Шамрай улыбнулся, кивнул на Шкулепову – Сегодня увидел её на створе и сразу стойку сделал, как сеттер.

– Прямо, – сказала Шкулепова.

– Да не откажет он, – сказал Шамрай уже серьёзно, – ты же ему ещё ничем не насолил, чтобы он вдруг отказался помочь.

Разобравшийся со своими геологами Кайдаш позвал их пить чай. К ночи похолодало, от аквариумной стены тянуло холодом. Алиса грела руки о стакан, слушала беззлобную перепалку Шамрая с нынешним начальником здешней экспедиции и смотрела на сбиваемые ветром на одну сторону и шевелящиеся, как водоросли, гибкие ветви ив.

Все прошедшие пять лет ей казалось, что у неё, как у каждого, есть своя гипотетическая родина, некое отвлечённое понятие, как абсолют, в природе не существующий и ею условно именуемый Музтор, Музторская ГЭС, вознесённая высоко к небу не только горами, но и несбыточностью, невозможностью своей по сути. Что так смотрела её молодость, так хотела и так называла, слепая в своем желании видеть то, к чему тянулась душой – некое отвлечённое братство, горнее, а не дольнее... А оказывается всё это есть – закинутый высоко в горы посёлок, зелёная и чистая звезда над ним, милые, родные лица, чуть затуманенные временем, и вдруг пришедшее ощущение легкости в сердце, словно невидимая рука, все эти годы сжимавшая его, уже привычная и почти не замечаемая, вдруг отпустила. Отпустила...

И последнее, что запомнится как состояние счастья, пришедшее перед глубоким, как омут, сном: «Господи, я дома!..» на гостиничной кровати Бастилии.

11. Кетмень-Тюбе и первый разговор с Терехом

Два дня они летали над окрестными горами Кетмень-Тюбинской котловины, зависая над всеми ущельями и ущельицами, отмеченными на планшете, как схожие с Кампаратинским створом. Она всё-таки существовала, Кетмень-Тюбе, не котловина – мираж, окруженная неральными, плавающими в воздухе снежными горами. А там, где снег уже сошел, голубой небесный цвет воздуха был слегка разбавлен зеленым, коричневатым, желтым – размытость акварели, зыбкость едва угадываемого сущего сквозь толщу воздуха и света. И такая же эта долина с вертолета – мираж и свет, и только когда они опускались пониже над очередным распадком, земля обретала реальную плотность, ощетикивалась скалами, деревьями и кустарниками.

Вертолётчики тоже вошли в азарт и чаще всего сами шли в сторону того или иного ущелья, казавшегося им подходящим, и вообще вели себя так, словно им лично было поручено выбрать место будущей плотины. Ещё на Кампаратинском створе штурман внимательно выслушал Кайдаша, перенёс пометки в свой планшет, вытащил пригревшегося и вздремнувшего в углу вагончика пилота, и они все протопали вверх-вниз вдоль реки.

Шкулепова мерзла в вертолёте, и кампаратинские геологи уже перед отлётом забросили в него большой тулуп для неё, попутно ругнув Кайдаша, Карпинского и службу авиации за неджентльменское отношение к женщине. От тулупа пахло овчиной, кумысом, Киргизией... И последующие два дня она влезала в вертолёт, закутывалась в тулуп и в полной готовности приникала к окошку хотя от аэрона, который она глотала, боясь качки, собственная голова казалась ей мало пригодной к какому-нибудь умственному усилию, и оставалось полагаться на Кайдаша, Карпинского и штурмана Володю. Но после каждой посадки и остановки винта она тоже спрыгивала на землю, что плыла и качалась под ногами, и шла, цепляясь за кусты, с трудом соображая, чего не хватает тому или иному месту. На третий день они шлёпнулись на небольшое плато в распадке Бурлы-Кии, или Бурды-Кии, в картах были разночтения. Ущелье было схожим с Кампаратинским по своим геологическим характеристикам, плато годилось под лагерь, а терраску чуть повыше можно было приспособить под смотровую площадку. Единственно, было жалко ели, карабкающиеся по склону, которые в ложе плотины придётся вырубить.

В Уч-Тереке, ближайшем к Кампаратинскому створу кишлаке, к вертолету бежали детишки, степенно приблизились старики и старуха на лошади. В магазине прилавки были завалены дорогими вещами, которых днём с огнём не сыщешь в городе, а здесь пылившимися за полной ненадобностью местному населению. Кайдаш купил своим двойняшкам две пары финских сапог, удивив тридцать девятым размером – Шкулепова помнила двух крошечных девочек, одна была разительно похожа на свою белокурую маму, а другая на отца – черными миндалинами глаз и точеным, чуть загнутым книзу носиком. Пока гуляли, в тени вертолета залегло стадо индюков. «Цып-цып», – шел за ними Карпинский, индюки с достоинством отходили, недовольно переговариваясь, и только когда заработал винт, побежали в панике.

* * *

Земля плыла под ногами ещё сутки, и они с Карпинским отправились к начальнику строительства Тереху по ещё качающейся земле.

Терех знал Карпинского как ГИПа Кампараты, поднялся навстречу, пожал руку, тот представил Шкулепову назвал должность и институт, который она, так сказать, представляла.

– Ваше лицо мне знакомо, – сказал Терех и приветливо взглянул на Шкулепову поверх очков.

– Я работала здесь, при Пулатходжаеве и Птицыне.

Он улыбнулся, кивнул:

– Вот видите.

Карпинский рассказывал о кампаратинской разведке, о том, что они уже выбрали место для опытной плотины, Терех довольно кивал.

– Отлично, нам нужны перспективы.

– Нужно проверить на опытной плотине, что они могут, уже сейчас, – Карпинский кивнул на Шкулепову. – Чтоб не получилось, как здесь у вас – уже перекрылись, уже был котлован, а никто не знал не только способа возведения плотины, но даже её типа.

– Ты что, решил открыть мне глаза на истинное положение вещей? – добродушно-ворчливо спросил Терех.

– Ну, почему? Если бы проект был сделан вовремя, вы бы, может, уже построили ГЭС и при этом сэкономили уйму нервных клеток.

– Кто бы нам сделал этот проект, уж не ты ли? Если бы был проект, ГЭС не было бы вообще! – он победно оглядел их ошеломленные лица. – Не нашли бы развязки производственной схемы и отказались бы.

– То есть?

– Вот то-то оно и есть. Ни один из существовавших до этого методов возведения плотин в этом каньоне не годился. А ждать, пока кто-то что-то придумает, мы не могли. Увязли уже.

– Вот бы её взрывную!

Зосим Львович развел руками.

– Дурень думкой богатеет – есть такая украинская поговорка. Ты не обижайся, это я так, вообще... Да и Нарын промыл здесь ложе в довольно прочных монолитах. Строительство идёт по оптимальной схеме. Когда мы начинали, твоего способа возведения ещё не существовало. Насколько я понимаю, его всё ещё нет? А значит, не было бы и тех семидесяти метров, что мы уложили. А это, знаете ли, три года. Все хотят понять, почему Музтор пошел так а не этак, выстраивают причинно-следственные связи. Но причинно-следственные связи можно установить, когда уже есть явление и от него не отмахнёшься. В основе всего существующего лежит его становление, как бы ты его ни называл – стечением обстоятельств, направленностью, или логикой развития – все это жизненная необходимость! Я это тебе говорю, чтобы ты больше не приводил мне доводы подобного рода. И потом, думаю, что прежде пойдет Аксайская ГЭС, тут тоже своя логика – если Кампарату вы собираетесь строить направленным взрывом, то ген-подрядчиком будут туннельщики, Матюшин с Котоминым. А что прикажешь делать людям, которые умеют класть бетон? А тут створ всего на тридцать километров ниже Музторского, ничего, значит, не нужно возводить заново – ни поселка, ни бетонного завода... Всё это жизнь, организм, а не механизм.

– По логике развития, – вскинул голову Карпинский, – чтобы построить Кампарату, мне нужно вначале построить опытную плотину.

Терех добродушно рассердился:

– Не занимайся дешёвой демагогией, говори прямо, чего ты от меня хочешь?

– Чтобы возвести опытную плотину нам и вот её институту, – он мотнул головой в сторону Шкулеповой, – нужен заказчик, а значит – ваше ходатайство перед министерством. Это ведь ваши перспективы.

Терех почти присвиснул. Ушел глубоко в кресло, над спинкой возвышалась только седая его голова, по-птичьему острое, добродушное лицо. Завертел четками перед глазами.

– Объясняю ситуацию. Такое ходатайство написать можно, но вряд ли его удовлетворят. Мы ещё не на тех отметках, когда можно просить что угодно и это что угодно нам дадут. Нам легче помочь вам людьми, транспортом, вагончиками и прочим без официальной на то визы. Ходим, понимаешь, в героях, а... Я вот был в министерстве, просил двадцать пять ЗИЛков... – он замолчал, зажав четки в кулаке.

Шкулепова сказала:

– Слышали: «По ведомостям у них машин там – ноль, а они чего-то еще и строят».

– Дали? – спросил Карпинский.

– Нет. Но успехов пожелали от души.

– А на чём же вы бетон возите?

– Не на ЗИЛках же... Это вы на автобазе спросите, у Домбровского. И машины тоже у Домбровского просите, я ему даже приказать не могу. По ведомостям их у него ноль. – Он посмотрел на Шкулепову – А институт никак не может пойти навстречу?

– Нет, – сказала она, – У нас же не исследовательский институт, а проектный. За исследования по направленным взрывам платит горноразработка, скоро в открытых карьерах одним взрывом, знаете, как пулеметной очередью, будут укладывать целый поезд вагонеток... А до плотин никому дела нет... Кроме Степанова.

– Он ещё держится? Молодец! А вы как попали в эту историю?

– Так я же отсюда... То есть не отсюда, конечно, но моя первая публикация была по Карасуйским озерам.

У него помягчили глаза.

– Как-нибудь покажите при случае.

Она кивнула, а Карпинский щелкнул замками дипломата, положил на стол журнал.

– Ты прямо как Кио. А гуся у тебя там нет?

– А что, нужно? Индюка могу.

И тут Шкулепова сказала:

– Зосим Львович, мы в институте сказали, что вы уже вышли с этим вопросом на министерство.

– Ты, небось, сказал?

– Ну, сказал. Да я могу выйти на них от Гидропроекта! А что? А они скажут: рано! А потом будет поздно! Я не знаю, насколько надежно то, что они могут! – он мотнул головой в сторону Шкулеповой. – Мне нужно два года для наблюдений уже на существующей модели!

– Не ори! Ты обоснование написал?

– Написал.

– Давай его сюда. – Терех нацепил очки, долго вчитывался. – А почему здесь нет этих двух лет?

– Нету? Впишем!

– И я уже говорил, что официально пуск отложен на два года? Так что так на так и выйдет.

– Но вы же пуститесь вовремя!

– Пока это знаем только мы.

– Так надо им это доказать! Вы же пока идёте в графике!

– Только по бетону. Нам платят за уложенный куб бетона. Если я не буду платить зарплату в пределах трехсот рублей, у меня люди разбегутся!.. Ты был на плотине?

– Я была.

– Зря вы его с собой не прихватили. – Терех посмотрел на часы. – Значит, так. Давайте соберём совещание по Кампарате. Кайдаш здесь еще? Попросите остаться до понедельника. Дальше – Щедрин. Он хотя и технолог, но у него могут быть идеи. Постарайтесь с ним поговорить до того. Объясните ситуацию. Не мне тебя учить. С Шамраем, я думаю, вы уже побеседовали. Это понятно. Еще дорожники – Колесников. Сколько там километров до дороги?

– Километров шестнадцать.

– Надеюсь, тебе не нужно бетонное покрытие? Пусть пробьют автотропу. Еще Лихачёв. Тоже «до того». Я знаю, что сегодня пятница! Разделитесь! Может, он оторвётся от своих глубоких научных изысканий, хотя бы из вежливости к даме... А то все диссертации пишут, строить некому! У меня, понимаешь, зав лабораторией – доктор наук! Ну, он, ладно, он и приехал

сюда, чтобы иметь в полном своем распоряжении лабораторию по бетону. Вебер диссертацию пишет! Так вот, Лихачёв лучше всех знает министерскую конъюнктуру. И главное, давите на то, что это не только вам нужно, но и вопрос доверия к стройке.

Терех встал.

– У меня всё. До понедельника. В пять часов. Здесь. После планерки.

Шкулепова остановилась у дверей, обернулась.

– Зосим Львович, я ещё хотела сказать, что это мой вывал во втором транспортном туннеле.

– Вот теперь я вас вспомнил! Вас ведь Люсей звали? А я все думаю, Алиса Львовна, что за Алиса Львовна? А туннельщики там очень хорошо вентиляционный узел всадили. Видели?

Она кивнула, улыбнулась:

– До свидания!

– Покаялась, – сказал за дверью Карпинский.

– Ага.

– Нет, нормально. Всё равно кто-нибудь бы напомнил.

– Думаешь?

– Лихачёв, – Карпинский задумчиво тер подбородок. Весь вопрос в том, пойдет ли он нам навстречу со всеми своими министерскими связями...

– Со всеми или нет, но должен пойти.

– Самоуверенная вы дама. Я совсем не знаю Щедрина. Он же технолог?

– Вилен Дмитрия – умница. Золотая голова, генератор идей, их аккумулятор и так далее... Всё понимает с полуслова, поэтому никакой лапши на уши!

– Ладно, учтём.

Они направились к сидящей за машинкой Маше, мягкой, женственной, почти домашней Маше, которая всё знает, всё помнит, всё успевает без всякой суеты, к которой можно подойти, посоветоваться и сделать, как она скажет. Карпинский указал пальцем на лихачёвскую дверь:

– У себя?

– Будет после двух.

– Маш, запиши нас на приём.

– Лучше вы сами ему позвоните. Три тройки.

– Ясно. А Щедрин?

– Тоже после двух.

– Понятно. – Карпинский обернулся к Шкулеповой. – Пойдём, я тебя пока в ресторан свожу.

Маша фыркнула.

– Уж лучше вниз идите, в гостиницу. Вера Тимофеевна вас накормит.

12. Смотреть в глаза!

В пять минут третьего Алиса сняла трубку, набрала три тройки:

– Герман Романович? Здравствуйте. Это Шкулепова, Гидроспецпроект Я хотела...

– Наконец-то вы, сударыня, изволили позвонить!

– Прошу прощения, что приходится вас беспокоить, но Зосим Львович назначил совещание по Кампарате на понедельник и настоятельно рекомендовал поговорить с вами «до того», – она говорила, улыбаясь в трубку.

– Где мне вас найти?

От напора весёлого голоса она растерялась до слабости в коленках.

– Я... Я сама к вам приду... Вы... Вы только скажите, когда это удобно, мне нужно минут двадцать...

Он долго молчал, молчание казалось бесконечным и почти окончательным.

– Аллю?

– Позвоните мне через полчаса, я поищу окно.

Карпинский смотрел вопросительно.

– Велено перезвонить через полчаса.

– Может, пойдешь со мной? Перезвоним от Щедрина.

Она замотала головой.

* * *

У неё было полчаса времени, чтобы, сидя спиной к конторке администратора и выходу, понять, какого она сваяла дурака. «Где мне вас найти?» – точно поставленный вопрос, могущий касаться их обоих с Карпинским и телефона, по которому он мог позвонить, когда освободится. С этим всё в порядке, но голос, но радость и напористость тона...

Лихачёв был из тех людей, что всегда разговаривают с женщинами в тоне лёгкого флирта, ну, такой вот способ жить и радоваться встречным улыбкам или вдруг вспыхнувшему от смущения лицу. И «наконец-то вы, сударыня, изволили позвонить» из того же ряда. Он никак не рассчитывал нарваться на дуру, которая будет выходить из собственного смущения, поджав губы и за счёт собеседника.

Она помнила его появление в актовом зале Нарын ГЭС, заставленном столами проектировщиков – молодой, в кепке, синие слетающие с лица глаза, в которые лучше не смотреть. И куча всяких историй вокруг его имени, в которых не отделить правду от легенды. Он весело и открыто приударял за Светланкой, может, из-за полной уверенности, что всерьёз его ухаживания приняты не будут. Котомин на стенку лез, когда на какой-нибудь вечеринке Лихачёв без конца приглашал её танцевать и только басил: «Женился на самой красивой – терпи, когда её приглашают». Такой вот мужик, первый парень на деревне и вообще на пятьсот миль в округе. И женщины, выпархивающие из его кабинета с сияющими улыбками, румяные и счастливые, независимо от возраста, комплекции и количества находящихся в кабинете людей. Своё смущение на плотине ей почти удалось скрыть, а ответить на весёлый рокошущий голос в коридоре управления помогли улыбка и вежливость...

А сейчас она получит сполна за понятый в лоб подтекст.

Она, похоже, не только смутилась, но и трухнула. Весёлый напористый голос как-то мгновенно сложился со случайными наездами лихачёвского газика, под который они с Карпинским чудом не попадали все три дня, выходя утром из гостиницы. Он наезжал на них вечером и чуть не сшиб полтора часа назад, катя домой на обед. Непреднамеренная случайность этих наездов

и их постоянство уже тянули на некоторую закономерность, а у неё сейчас не было никаких душевных сил, чтобы ответить на это хотя бы на уровне польщённости...

Она почти пять лет отходила от багинской истории, пока в ней не появилась внутренняя уверенность и весёлое чувство свободы, опущенности на все четыре стороны, сразу замеченное всеми и лихо сформулированное Малышевой: «У тебя сейчас такой вид, будто ты выходишь на тропу, и будут жертвы». Ага, только перья полетят. Естественно, жертвой стала она сама, опять, и после никак не могла понять, почему человек, который, в отличие от Багина, был её человеком, был назначен ей и наконец-то встречен, испугался её безоглядности. И снова выживать только работой, больше нечем – это она знала ещё с багинского периода, и нехитрой мудростью, что единственных – не бывает, давшей ей так дорого.

Первое время она держалась на радости возвращения и встреч, но не было ни внутренней уверенности, ни весёлого чувства свободы. Было остаточное состояние опустошённости. И Светлана смотрит внимательным взглядом и вдруг говорит: «У тебя сейчас глаза, как у собаки, которую побили и она не знает за что». И, наверно, уже не узнает и не поймёт никогда.

Стрелка часов ползла к половине третьего, нужно было звонить и, наверно, идти, и она встала, позвонила и пошла – вверх по лестнице от гостиницы, потом виражами дорог выше и выше, до площадки управления. И пока идёшь – четко уложить мысли и формулировки, касающиеся дела, соответственно своему состоянию и тому отношению к тебе, в котором ты сама виновата. Она усмехнулась – с учётом условий, в которых придется всё изложить, убедить и добиться.

Слабость, она иногда тоже сила, – и с этим войти.

– Здравствуйте. Карпинский просил передать свои извинения – мы ничего не успеваем, и нам приходится делиться.

Лихачёв сделал шаг ей навстречу. Он, естественно, никогда первым не совал руку женщине, а она не смогла протянуть свою. Постояли.

– Садитесь, – и когда она села, сел сам. – Я слушаю вас.

Она глянула мельком ему в глаза – в такие можно было смотреть спокойно – холодные, уставшие, почти неприязненные.

Он ни сном, ни духом не думал о Кампарате и даже не был заинтересован в перспективах, как Терех. Вежливо выслушал все перипетии дела и даже из вежливости не изобразил ни малейшего интереса, хотя и сказал, что всё это чрезвычайно интересно, но ему трудно сообщить, чем он тут может быть полезен.

– Мы действительно сейчас в таком загоне, не жизнь, а задачка на выживание. Выживем – хорошо, построим – еще лучше, а нет – туда нам и дорога – ковыряйтесь до скончания века.

Помолчали.

– Вот такие дела, Алиса Львовна. И тут начальник совершенно прав...

Она тряхнула головой, словно пытаясь избавиться от бессмысленности нескладывающегося разговора, и, по принципу «откуда я знаю, что я думаю, пока я не скажу», сказала, глядя в стол:

– Раньше вы говорили мне «ты» и «Люся», – и, оторвав взгляд от стола, посмотрела на Лихачёва.

– А я не знал раньше, что ты Алиса Львовна! – Лихачёв округлил глаза и наконец-то улыбнулся. – Тогда давай сначала и по порядку. Ты когда защитилась?

– Год назад.

– А потом появился Карпинский. А до того вы со Степановым сидели на заказухе и ковырялись понемногу.

– Да. Но когда появился Карпинский...

– И передёрнул.

– Это было очень смешно, как он вешал лапшу на уши учёному совету и ударялся в несуществующие зарубежные отклики. Хотя один был. Правда, не отклик, а так, сообщение...

– А почему ты мне в переносицу смотришь?

Она сразу опустила глаза.

– У меня сейчас очень мало сил...

– А для того, чтобы смотреть мне в глаза, нужны силы?

– Да. Вы же знаете. – Она подняла голову и, нахально уставившись в переносицу, улыбнулась. – И ещё я, кажется, жутко кошу от трехдневного порханья на вертолете. И земля плывет, – и далее, без всякого перехода, в один ряд, – И ещё Зосим Львович сказал, что вы лучше всех знаете министерскую конъюнктуру и вообще единственная личность, которая может помочь в официальных сферах. А все остальные могут хоть плотину хором накидать, но без официальной на то визы.

– Всё доложила?

– Нет. Еще он сказал, что вам пора подумать о престиже стройки.

– Понятно. – Он встал, прошелся по кабинету, присел на угол стола. – Слушай, у вас ещё третья была, тоже, кажется, Люся, у Карапета работала...

– Малышка!

– Ну, я бы не сказал. Такая, с глазами, – он выставил два пальца «козой», какой пугают маленьких детей.

Алиса рассмеялась.

– Малышка, конечно. Она же Малышева, и самая младшенькая была. Она ВГИК кончает.

– Ну, вы даёте. Лихие вы ребята.

Он смотрел в пространство перед собой рассеянным взглядом, лицо у него было усталым.

– Всё будет хорошо, Герман Романович. Всё будет хорошо, правда.

Он удивленно глянул на неё, усмехнулся:

– Обещаешь? – встал, легко коснулся ладонью её головы. – Ладно. Иди. Отдыхай от вертолёта. Что-нибудь придумаем.

* * *

Карпинский от нетерпения мерил шагами приёмную.

– Ну, как?

– Нормально. Обещали подумать.

У Карпинского блестели глаза.

– Щедрин сказал, что в смете нового Музтора заложена зона отдыха с искусственным озером, и её вполне можно устроить на Бурлы-Кие. А стало быть, и плотину оплатить по этой смете.

Шкулепова изумленно уставилась на него.

– Вот! Во головка, да? Ведь наверняка все знали об этой зоне отдыха, и Терех, и Лёня Шамрай, и Лихачёв... И только Щедрин сразу сложил всё вместе! – от недостатка слов она выставила вперед два растопыренных пальца, указательный и средний, и очень наглядно сложила их вместе. И рассмеялась. – А что, очень хорошая зона отдыха получится, и озеро будет большое и красивое!

– И пока руки дойдут до его обустройства, мы выясним всё, что нам надо. Так что считай, плотина у нас в кармане. Но мужик, я тебе скажу! Я только начал рассказывать, причём как-то путано, про заказ, про отсутствие денег, про плотину, сам не понимаю, зачем я ему это говорю и что мне от него надо, он же технолог. Он смотрит на меня удивлённо, потом на полуслове прервал и выдал про зону отдыха!

* * *

Лихачев прошелся по кабинету.

Подумать можно, но что тут можно сделать? В принципе, можно подать в министерство заявку на опытную плотину, что будет совершенно провальным номером. Но если, скажем, параллельно попросить своего давнего приятеля, ныне уже зама председателя Госстроя, задать вопрос непосредственно Министерству Энергетики, что делается по взрывным плотинам, предварительно ознакомив министра с подготовленной заявкой. Такой небольшой кульбит. Госстрой требует доложить, что делает министерство в этом плане, а у министра в папочке уже лежит заявка на опытную плотину. И Пётр Степанович Непорожный берётся за папочку и докладывает, что вот, собираются...

И далее Петру Степановичу ничего не остается, как подписать заказ. А ему, Лихачёву, – попросить того же министерского диспетчера Веню проследить за продвижением заказа.

Все эти шальные ходы рождались в его голове независимо от знания, что он ими никогда не воспользуется. Прошло время, когда он ради собственного удовольствия ходил на ушах. Он не мог явиться в министерство с папочкой по опытной плотине. Там это показалось бы... Словом, не показалось. Он не мог себе позволить появиться в министерстве с чем-то на уровне мельтешения или незадачливой просьбы. Даже за металлом он не ездил кланяться, на то был Илья Григорьевич Толоконников – барственный, вальяжный зам начальника по снабжению, который умел барином ходить в снабженцах, а не просителем, с морщинкой лёгкого недовольства на челе или поощрительной улыбкой, приравненной к медали. Кличка «Бампер» – это разве только от черной бронированной «Чайки», никак не меньше.

Он помнил, как девочки зачитали ему среди ночи телеграмму от Толоконникова, подтверждающую дневную несмелую надежду, что если что-то хорошее возвращается, то оно возвращается без дураков... Может, он так заспался, что Алиса Львовна затем и явилась, чтобы толкнуть его в бок? И толоконниковский металл в ряду счастливых примет того, что жизнь не будет и далее медленно ползти и скрипеть под их общими усилиями? Предчувствие перемен, удачи? Что удачу можно сотворить самому и сейчас? А в чем могла заключаться эта удача сегодня, что может быть её лицом?

На это он мог ответить точно: утверждение прежних, на два года ранее запланированных сроков пуска и сдачи объекта. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И не это ли имел в виду начальник, передавая через третьих лиц что ему пора бы подумать о престиже стройки? Что Тереху тоже тошно от чувства закоренелости, да всем тяжело от отсутствия развития, существования, а не жизни?

Но Лихачёв уже не мог позволить себе того, что позволял лет десять назад, доказывая необходимость того или иного министерского движения. Ему уже не тридцать семь, а сорок семь, сорок восемь скоро, до пятидесяти – всего ничего. С возрастом, хочешь не хочешь, стиль поведения меняется... Так что вернемся к нашим баранам.

Что нужно для того, чтобы нам утвердили прежние сроки пуска и сдачи объекта? Доказательство, что мы в них уложимся. И без дополнительных на то ассигнований, а только с передвижением сроков поставки оборудования. Расчёты нужны нам, а вот министерству нужно что-нибудь более весомое, нужен, пожалуй, выход на пусковые отметки... А что? Всё равно это стоит подсчитать! Лихачёву хотелось побыстрее всё прикинуть и посмотреть, насколько это возможно и в какие сроки, он уже собрался податься в техотдел, но вошедшая Маша сказала:

– На четыре часа назначен БРИЗ, можно приглашать?

Он как бы споткнулся об этот БРИЗ, всегда какой-нибудь бриз, когда хочется делать другое. Он все-таки позвонил в техотдел и проектировщикам:

– Все, что есть до 743-ей отметки, хоть на эскизном уровне, к семнадцати тридцати тащите сюда.

Сколько можно изобретать бычки и консоли, и подобную хренотень, чтобы эта чертова плотина росла?

13. Бреши в настоящем заполняются прошлым

У Шкулеповой впереди было два почти свободных дня, и ноги сами понесли её вниз, к котоминскому дому. Она пересказывала Светлане подробности переговоров с Терехом и Лихачевым, о предложении Щедрина. Светлана вскидывала от вязанья заинтересованные глаза:

– Ой, хорошо-то как, а ты боялась!

Алиса проторчала у них весь вечер, пялились в телевизор, в соседней комнате Инка брэнчала на пианино, спотыкаясь на одном и том же месте и без конца начиная сначала. В голове звучало «Нам не дано предугадать...» Инка спотыкалась, начинала снова, и снова ложилось на музыкальную фразу «Нам не дано предугадать, как...» И никак не выговаривалась до конца торжественная мудрость старых слов: «Как наше слово отзовётся»... Ещё оставалось зайти к Веберам, но сегодня она посидит здесь, рядом со Светланой, в расслабленности и тишине.

* * *

В темноте Алиса брела вниз, к гостинице, вокруг дышал, ворочался во сне поселок, живая жизнь и живое тепло, растекшееся его террасами, с общими, переплетающимися снами, в которых невнятность дня укладывалась в объективность данного. Здесь, где чуть выше и отъединённое от всего остального мира, эта работа жизни казалась почти материально ощутимой. Всё неоднозначно, многопланово, всё срослось, переплелось корнями, побегами, связями отношений, как в почвенном слое – потянешь за одну нить, натягивается всё, пружинит, неизвестно, где оборвётся и что, и кому отзовётся, где чьи нервные волокна... И то, что «мысли носятся в воздухе и приходят в голову сразу многим» здесь как бы банальное явление. Тем более, при экстремальных условиях, когда речь шла о выживании целого посёлка и решении задач, «которые никто никогда не решал». Даже свои почти игрушечные машинки на плотине они наизобретали на общих догадках, практически одновременно и очень быстро, и сами удивляются, как это у них все получилось и сошлось.

Алисе казалось, уехала – и всё: другие люди, интересы, другая жизнь. И ты сама по себе – всё своё ношу с собой. И вдруг вернуться, коснуться светланкиного исхудавшего плеча с болью мгновенно отозвавшейся памяти, или володиной руки, выдернувшей из дивана и протащившей её по поселку, и ты снова в своей среде, как в собственной почвенной лунке. Выходит, ничто не забылось, не отмерло, ждало? Или это была молодость, прирастающая, одна на всех?

* * *

Вот к Веберам она не приросла... Может потому, что они были старше на семь лет, в которые возводилась Нарын ГЭС. Но не только. Володя Вебер – высокий, сухой, аскетичный, этакий Дон Кихот в поблескивающих очках. Четкость, сдержанность и требовательность от других прямоты и правильности поступков. Что часто раздражало, когда дело касалось не работы, а, скажем, общественного поведения. Откуда он знает, что правильно и как надо? Прямо какой-то ходячий «кодекс строителя коммунизма».

И липли к нему всякие комсомольские активисты, со своими комсомольскими прожекторами и патрулями, которых более всего волновала ширина брюк и кто с кем спит без штампа в паспорте и их на то визы. И при веберовской педантичности они раз в неделю собирались у него в кабинете ли, вагончике, и о чем-то совещались. Но нарынгэсовцы, похоже, любили Вебера искренне и восхищались им. Багин восхищался. Его готовностью подставлять плечо, подкладывать руки и не ведающей сомнений уверенностью, что любой на его месте, на своём

месте – поступит так же. Это покупало, пленяло – уже не он такой, мы такие. Прорывалась ли в ночь или праздник теплотрасса, поднимались ли паводковые воды – Вебер обзванивал всех своих без тени сомнения, что кому-то не захочется вылезать из теплой постели, что кто-то может отказаться – не может такого быть. Багин рассказывал, как Вебер сидел с заболевшей дочерью своего лучшего сварщика Фомина, потому что без Вебера могли обойтись, а без Фомина – нет. И Фомин спокойно ушёл среди ночи что-то спасать, затыкать очередную пробоину или промоину. В те изначальные времена Багин безоговорочно принимал любое веберовское «надо», была ли это сгоревшая компрессорная, переправа через Нарын или ночное дежурство. Да и первые бригады на дорогу к Музторскому свору подбирал и снаряжал Вебер, и это было – как представление к награде. А был он тогда прораб, производитель работ. И Багин так оказался на этой дороге.

Нарын ГЭС – это еще долина, хотя и у самого подножия гор, а дальше – отвесный разлом ущелья, Нарын, неистовый в своем падении. Они дичали там за неделю, на дороге и в землянках Токтобек-Сая, а, возвратившись, в первую очередь бежали к Веберу с блестящими глазами рассказывали о каждом метре, о каждом дне и видели ответный блеск глаз, стёкол очков – пора, пора выбираться наверх!..

В первый раз Алиса столкнулась с Вебером вблизи на створе. Ну да. Багин ехал ей навстречу на мотоцикле и кричал, сверкая улыбкой, что не может остановить мотоцикл. А потом мотоцикл взвыл у неё за спиной, и она оглянулась. Багин бежал к ней, а мотоцикл лежал на боку, урчал и вертел колесами в воздухе. И ещё там стояла группа из управления во главе с Лихачёвым и смотрела на Багина с его бесконтрольно сияющим лицом и счастливым голосом. И она стала так, чтобы он оказался к ним спиной. И тогда же к ним подошёл Вебер. И Багин представил их друг другу. Наверно, она смотрела слишком внимательно, будто вот сейчас сможет увидеть в этом мало симпатичном ей человеке то, чем восхищались другие. И в ответ – смущенная сухость Вебера, – он смотрел, из-за кого так дребезжит Багин. С трудом улыбнулся, заговорил, но напряженность шеи не исчезла, он так и уходил тогда – напряжённо, неестественно прямо держа голову, и хотя эта напряжённость была следствием недавней травмы (он сорвался на левом берегу) – это ничего не меняло и не корректировало, это соответствовало характеру и образу – Володя Вебер.

* * *

Вебер для Багина значил слишком много, и на этом он погорел. И из-за того, каким стал Багин, Алиса тоже немного недолюбливала Вебера.

В те изначальные времена не знали даже как подступиться к створу будущей плотины – отвесное ущелье, старые трещиноватые склоны, каждый взрыв, толчок, проходка дороги, наконец, дождь или снег рождали оползни и камнепады. Ущелье было опасным предельно, и каски, в которые всех одели, тут мало могли помочь. Поэтому был организован Участок по освоению склонов, а Вебер назначен его начальником. И Вебер вызвал из Фрунзе своего приятеля, альпиниста Костю Астафьева, и с его помощью организовал скалолазную службу с альпинистской подготовкой на уровне инструктора. Поначалу организовали несколько бригад, проводивших рабочих по опасным участкам, обезопасивших места работ, спускавших осыпи. Но этого было мало, и уже висела в воздухе мысль о необходимости поголовной альпинистской подготовки всех работающих на склонах. Костю Астафьева поначалу вызвали на три месяца, но, увидев, как здесь работают, он схватил Вебера за грудки и принялся трясти, крича неожиданно севшим голосом: «Немедленно прекратить работы! Немедленно!» И остался уже насовсем.

В скалолазы отбирали молодых, с крепкими нервами, это было что-то вроде школы – вначале обучали основам альпинизма, потом всем видам работ – плотников, буровиков, слесарей-монтажников, электриков, потому что всё должно было располагаться на склонах, на бор-

тах ущелья – больше негде, и быть безопасным для работающих внизу – на дороге, площадках и в котловане.

Была уже школа или нет, когда сорвался тот парнишка, мальчик, которого в числе прочих Астафьев вывел куда-то в район гребня будущей плотины? Там до какого-то места был трап, а дальше начинался ползучий осыпной сай, и поэтому на всех были трикони – ботинки с металлическими зацепками на подошвах, специально для таких вот ползущих и травянистых склонов. Астафьев довел их до того места, где кончался трап и усадил на небольшом уступчике, велел никуда не ходить, а сам отправился навешивать страховочную веревку. Уступчик был метра три на три, отполированный дождями и ветром, явственно клонящийся в сторону пропасти. И мальчишечка решил отбить чечетку над пропастью, в триконах, которые не только не держали на скалах, но и скользили больше, чем любая другая обувь. Все произошло молниеносно. Он соскользнул ногами вперед и так летел метров пятьдесят до какой-то полочки, узкого карниза, ударившись о него ногами, не смог удержаться – спружинившее тело оттолкнуло его от скалы, и оставшиеся двести метров он летел уже головой вниз.

Это была не первая смерть, но первая после утверждения скалолазной службы. После Астафьев уже никогда не водил новичков так высоко, а вбивал основы скалолазания и дисциплины на небольшой скале за посёлком. И хотя и там ломали ноги и руки, но никто не разбивался насмерть. Астафьев не был виноват – остальные в один голос говорили о его предупреждении, о чечетке на уступе и предварительном инструктаже Вебера – с этим всё было в порядке. Но потом оказалось – не всё в порядке, это Алиса узнала позже, от Багина, после того, как жена Вебера, Татьяна, рассказывала, что Вебер не спит по ночам.

Инструктаж вроде был проведён, но то ли книжка инструктажа куда-то завалилась, то ли вагончик был закрыт, но почему-то письменно это зафиксировано не было, словом, какая-то официальная ерунда, утром всё должны были изъять – ждали следователя. Багин рассказывал, что Кайрат, его ещё институтский товарищ, с которым они вместе распределись на Нарын ГЭС и тоже работавший прорабом на участке Вебера (это в его роскошном пальто Шкулепова щеголяла в Шамалды-Сае), этот Карат поднял его среди ночи, запихнул в машину, и они, заехав за Вебером, оформили бумаги. Вебер за это время не проронил ни слова и молча, без всякого сопротивления подписал всё, что нужно. Потому что именно он должен был проводить инструктаж и подписывать документы. И что-то коробило Багина в этой истории, и Алиса пыталась выяснить, что же именно, ибо в те времена ей была не так уж важна психология Вебера, как важна багинская. Ведь даже с его слов вины Вебера там не было, была лишь оплошность в оформлении бумаг, которую и оплошностью бы не считали, не случись несчастья. Уже после Алиса почему-то решила, что Багин чего-то не договаривал. Она спросила его тогда, коробит ли его, что Вебер не отказался ехать, что его даже не пришлось уговаривать, уламывать? «В какой-то степени». Хотя вот этого Вебер как раз и не умел. Скорее всего, он молчал и молча выслушал доводы Кайрата. И поехал. Наверно, по багинскому образу Вебера он должен был сказать «Нет». В соответствии с образом. Но Вебер не сказал. Что у него было на душе – страх перед следствием, боязнь ли, что скалолазная служба, только начавшая разворачиваться и приносить первые результаты, будет приостановлена или вообще запрещена, что вряд ли... Или минутная слабость, а потом уже не вернешься, не переиграешь? Решился он на это или нырнул в образовавшийся просвет, как в не очень хороший, но все-таки выход?

И еще она спросила тогда у Багина – или тебе не понравилось, что тебя просто запихнули в машину, не дали поразмыслить и самому решить, идти на это или не идти, спасать или не спасать? Не дали покопаться в собственных ощущениях, а просто запихнули, отвезли... «Ты слишком хорошо всё понимаешь», вот что он ей на это ответил.

Но, видимо, все-таки дело было в том, что Вебер был тогда не в образе, не в соответствии с тем, каким его воспринимали, и каким он старался быть. И был. Старался быть, а не казаться,

но вот случился в его жизни день и час, когда он не соответствовал, не был, независимо от причин.

А, может, Багина поразило, что после всего происшедшего Вебер вёл себя совершенно по-прежнему: всё тот же менторский тон, та же покровительственная манера хвалить или журить, и даже что-то вроде снисходительного терпения было в его реакции на раздраженные выходки Багина, а этого Багин уже не мог вынести.

В глазах остальных Вебер оставался таким, каким он себя создавал – ребята, поступавшие в здешний филиал политехнического института, писали в сочинениях, что хотят быть похожими на Вебера – принимавшая там экзамены по литературе жена Лихачёва рассказывала об этом при каждом удобном случае. Багин саркастически усмехался, Вебер переводил разговор на другое. Он не спал по ночам, что-то же всё-таки не давало ему уснуть? Во всяком случае, ему не приходило в голову воспринимать себя теперь иначе. Это тебе легко – «Зосим Львович, это мой бывал во втором транспортном», а если мальчик? Да и не был Вебер виноват в смерти мальчика. Но почему-то Алиса с тех пор стала не очень всерьёз принимать веберовский максимализм. Или это так въелось в наше сознание за тысячелетие православия – «лучше смиренно грешить, чем гордо совершенствоваться», «не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься»? Что ещё она запомнила из пререканий своей набожной бабки и богохульника деда? И прощать – чего не мог Багин?

После всей этой истории должен был бы измениться – смягчиться, что ли? – Вебер, но вот изменился, стал нетерпимее, Багин. У него словно что-то рухнуло внутри – взвинченность и бессмысленные поступки – как рыба, выброшенная из воды, – он дергался и бил хвостом налево и направо. Господи, взрослый человек, двадцать девять исполнилось в августе, шестого августа, вот когда Малышка купила ему в подарок спасательный жилет, ему, а не Веберу.

К тому времени Багина уже назначили начальником участка механизации при управлении строительства плотины – очень уж хорошо у него получалось всё с бульдозерами, скреперами и бульдозеристами ещё со времен Токтобек-Сая, с дороги к створу. Но после случая с мальчиком Багин перестал давать механизмы Веберу и его участку освоения склонов без предварительной на то заявки, чего раньше не было, веберовский участок пользовался подобными негласными привилегиями... Пока их общему начальнику Хуриеву не надоели их распри и он не сослал Багина на входной портал обводного туннеля – узкое место, с которым в ударном порядке мог якобы справиться только он.

А ещё была подпорная стенка... Ну, да, потом была эта стенка – очередной багинский подвиг. Портал, на который Хуриев сослал Багина, близился к завершению, и Хуриев предложил ему продолжить столь удачно начатую деятельность по укладке бетона уже у выходного портала, на подпорной стенке, к тому времени частично существовавшей в виде громадных ступеней, защищающих берег от размыва. Но её ещё нужно было довести до состояния собственно стенки, должной выдержать не только злые паводковые воды, но и дорогу, по которой пойдет бетон плотины. А прежде – скальные глыбы и связки тетраэдров перекрытия, до которого оставалось всего ничего, меньше полугода, а ни стенки, ни дороги, должной пройти над выходным порталом, ещё не было.

Проектировщики из САО Гидропроекта все ещё отставали, вернее, отставали безнадежно, и конца этому не предвиделось, и уже витала мысль о передаче проектирования Москве... Проектировал же эту авральную стенку ещё один багинский институтский товарищ, недавно присланный из Ташкента в Кызыл-Таш руководить группой, состоящей из его жены Леночки и Натальи и Зои, с которыми Алиса снимала времянку ещё в Шамалдах. Работали они чуть ли не в две смены, с перерывом с пяти до семи вечера, и когда, наконец, эта стенка была спроектирована, для стройки зависили сейсмику, и начались судороги. Времени для выбора вариантов не было, и они нагрохали такой монолит, конец света. У Багина не было никаких сил грохать этот монолит в бетоне, и он предложил свой вариант – фасад оставался прежним,

рассчитанной проектировщиками дугой, но это действительно была стенка, достаточно тонкая, от которой веером шли бетонные распорки к скале. А пустоты между ними заполнялись гравием и грунтом. И предложил Багин не идею, а уже готовый расчет, сделанный буквально в две ночи. А Алиса никак не могла понять, почему Зоя с Наташей оскорблены таким поворотом дела. Что ж такого, что Багин оказался сообразительнее их руководителя? Потом она видела эту стенку готовой, еще без дорожного покрытия, но по ней уже шли машины, подпрыгивая на бетонных ребрах-распорках и утрамбовывая между ними гравий и грунт...

И только гораздо позже Наталья объяснила, что расчетами-то Багин их воспользовался. Но вся неприглядная сторона поступка была не в этом. Попроси он их сам показать или отдать расчеты, ему бы их наверняка бы показали и отдали. Но их взяла у Леночки багинская жена, Анжела, она только перевелась от строителей к проектировщикам и попросила расчеты, якобы подучиться проектному делу. Такой полудетектив, и не так все было красиво и лихо, как это представил ей Багин.

Запроектированный же монолит оказался последней каплей в отношениях между строителями и ташкентской фирмой, и проектирование основных сооружений было передано Москве, а каким образом был вычислен багинский вариант подпорной стенки – с помощью ломика или багинской супруги – никто не вникал.

14. Веберы

Алиса насилу собралась к Веберам вечером следующего дня, выбрела к нужной калитке в состоянии, когда идешь вперед, а тебе хочется идти назад. Этакое светское ощущение, или именно у светских людей его не бывает? На соседнюю отраду грудью кидался огромный дог, не дог, а собака Баскервилей, видимо, понимавшая в этом толк и умеющая оценивать свои и чужие привязанности. На террасе гремел грузовиком младший сын, Татьяна на кухне пекла коржики, рядом с нею сидел аристократично-изящный Мираль Керимов, который когда-то тоже работал здесь и которого сейчас здесь по идее быть не могло, но он сидел и приветливо смотрел на Шкулепову.

Татьяна вытаскивала противень из духовки, сыпала коржики в эмалированное ведро, ставила в духовку следующий, снова нарезала тесто для очередной закладки.

– Куда столько?

– На Маланьину свадьбу! Они скоро меня съедят! – «они» – это двое старших, – Растут, всё как в прорву, пока я обед готовлю всё вокруг подберут. Вымахали с отца, когда остановятся?

А Вебер на работе, где же ему ещё быть, ни суббот, ни воскресений, уже ночь на дворе, а он всё сидит, два дурака таких на стройке, он да Щедрин... Лучше бы диссертацию писал, а то на себя только по ночам.

Мираль улыбался.

– Ты где сейчас?

– В Алма-Ате, – он улыбался приветливо, без всякого подтекста.

– В Алма-Ате, – Таня громыхнула очередным противнем, – Бок о бок с Анжелой Поддубной работает, руководители групп, и она, и он. – Алиса наклонила голову, Татьяна продолжала громыхать духовкой, – Друзья теперь, не разлей вода.

– Она совсем другая стала, – Мираль улыбался так же безмятежно.

Татьяна распрямилась, уперла руки в бока:

– Горбатого могила исправит! Недавно получила от неё письмо – хочет приехать, взглянуть на свою молодость, мама моя, «я рассчитываю на твоё гостеприимство»! Будто Багин был, понимаешь, дрянь, а она золото и вообще ни при чем.

Мираль обернулся к Алисе:

– Они разводятся. Уже развелись.

– Ну и что? – Татьяна швырнула полотенце в угол. – Цитирую: «Как-то так случилось, что все любимые...» тьфу, «все любящие меня люди покинули меня... Одна молодая инженерка...» Чувствуешь стиль? Подожди, это не в сказке рассказать, – Татьяна рассмеялась, покачала головой. – «Одна молодая инженерка, любимая мною», постой, «любимая мною и служившая мне фоном...» Достаточно? Дальше не помню. Могу дать почитать. Другая! Как была дура с апломбом, так и осталась.

– Все вы, женщины, с апломбом, – мирно сказал Мираль, – Но она переменялась к лучшему.

– Не смейся! И не зли меня. Если она приедет, рассчитывая именно на моё гостеприимство, я рехнусь. Точно. Можешь ей это передать.

– Хорошо, – Мираль улыбался. Конечно, он передаст. Что лучше не садиться Татьяне на голову. Расскажет о трёх сыновьях, свекрови и прикованном к постели свёкре. И даст понять, что не стоит. Мираль – восточный человек и найдёт, что сказать без прямого текста. Хотя без прямого она как раз может и не понять...

Значит, они все-таки разошлись, как пишет Поддубная – «чинно-благородно: ей квартира и сын, ему – машина» И он ушёл. Естественно, к женщине. Это мы уходим в никуда, а мужики уходят к другим женщинам.

– А Багин – это она его сделала таким, – продолжала меж тем Татьяна, – Провокатором. – Алиса вскинула глаза «почему провокатором»? Татьяна на мгновение запнулась.

– Все средства хороши, всё идет в ход, ничего святого, порядочных людей нет... Мужиков делают бабы. Вот она и сделала его, каким хотела. Сейчас он вывернулся, но двенадцать лет – это двенадцать лет.

– А Вебера это ты таким сделала?

– Вебер не относится к тем, кого делают. К несчастью. И не могу же я сражаться с человеком, который прав. Вот только вам пожалею, и на этом дело кончится. Душу я могу отвести?

– Отведи.

– Ну вот.

Она освободила край стола, потащила младшего сына умываться, усадила есть.

Котык вертелся, болтал ногами, Татьяна рассказывала про серого волка, сын делал круглые глаза, приоткрывал рот, в который молниеносно запихивалась ложка. Потом появились старшие, пригибающиеся у дверной притолоки. Тонкая шея Серёжки, девятиклассника; неожиданно крупные, как у породистого щенка, широкие запястья у среднего, Митьки. Когда вставали из-за стола, Алиса погладила Митьку по голове, он стряхнул её руку: «что за фамильярность?» Упорно говорил: «Вы, Алиса» тогда как старший послушно, как велела мать: «тетя Алиса». С младшим – как с кутёнком, с игрушкой, а тот и рад, визг и возня, пока Татьяна не утащила его спать, с воплем, рёвом, волочением ног по полу. «До чего надоели мужики, знала бы, что опять парень, не рожала бы». Пришедший Вебер встрял: «До десяти дойду, а дочка будет». Татьяна приостановилась в дверях: «Это ты уже без меня доходить будешь!»

Вебер появился только к девяти, первым делом прошёл к отцу потом сели за стол, время от времени старик стучал в стену, Вебер вставал, шёл к нему – оказывается, играли ежевечернюю партию в шахматы. Самовар был электрический, но большой, ведёрный.

– Чего ты торчал там до этого времени? – спросила Татьяна.

– Не я один.

Торчали Лихачёв, Щедрин, Шамрай, он. У Лихачёва. Дело идет к тому, чтобы выгнать перепуск. «Не знаю. Хорошо бы».

– Проснулась, наконец, голова, – сказала Татьяна. А Шкулепова спросила, что такое перепуск. Ей объяснили, что вначале закрывают строительный обводной туннель, вода поднимается до второго строительного туннеля с уже регулируемым затвором. И начинаем копить воду. «Тебе тоже такой понадобится». Отводной туннель забивается бетонной пробкой, а его портал уходит под воду навсегда.

Багинский портал вместе с затвором, моторами, лебедками... И остаются только фотографии времён перекрытия со стоящими на ригеле затвора аксакалами в тулупах и память, как Багин улыбается ей из-за арматуры, как из клетки, а ребята из бригады отводят глаза.

– Это вторая веха. Перекрытие, перепуск, потом собственно пуск и выход на гребень плотины. Ну и сдача объекта. Перекрытие – всего ничего, начало, – говорит Вебер. – А перепуск это уже много. Больше половины. Две трети примерно.

– Три пятых, – говорит средний, Митька.

Шкулепова уехала после перекрытия, весной; в памяти остался майский паводок, злая жёлтая вода, рвущаяся из жерла туннеля высотой с пятиэтажный дом, бурлящий водоворот у портала, залитый котлован, кренящиеся опоры ЛЭП, потом их отсутствие... Малышка с большими резиновыми рукавицами, бегущая среди кипящей воды по широкой трубе воздуховода, разеваемые в беззвучном крике рты...

Такой был год, с замытыми лесом хлопковыми полями, скрученными, завязанными в узлы рельсами вдоль вновь уложенной ветки на Наманган, с крышами на сваях, оставшимися от размытых саманных домов, с ташкентским землетрясением... И таким же был следующий год, но тогда уже шёл бетон плотины, и паводок удалось удержать, двое суток наращивая бетонные перемычки по обе стороны котлована. А вода всё поднималась. Но с каким восторгом они вспоминают все эти авралы! Все против авралов и все от них в восторге. От ощущения полноты жизни и собственных сил? Вот и сейчас, похоже, устроят большой аврал для всей стройки и ура!

Вебер отодвигает чашку, говорит Татьяне:

– Я пойду? Ещё немного поработаю.

Татьяна молча провожает его глазами, говорит, глядя на уже закрывшуюся дверь:

– Вот так каждый день. Четырнадцать часов на работе и полночи на диссертацию. Варится в собственном соку.

А Митя почему-то говорит:

– Скарабей.

Шкулепова спрашивает у Татьяны:

– Если я попрошу посмотреть диссертацию, он покажет?

– Попробуй, – говорит Татьяна и добавляет решительно, – Пусть попробует не показать!

* * *

Алиса листала черновик объяснительной записки, прочла введение, машинально вычеркивая лишние вводные слова, перебросила один абзац повыше. Вебер смотрел ей под руку, кивал. Далее шли подробности, в которых она мало что понимала, кроме наукообразной усложнённости текста и некоторой необязательности математических выкладок. Проблемы и способы освоения склонов скорее нуждались в точном описании приёмов и видов работ, чем в математических обоснованиях – так ей казалось. Скорее это должна быть книжка, толковая. Рассчитанная на тех, кто нею будет пользоваться.

Наверно, Вебер и сам это знал, но защита такой работы не укладывалась в понятие диссертации – практические и технические решения не считались наукой, вот отсюда и математические обоснования, как всё, что должно доказывать свою обоснованность стороне незаинтересованной, как, скажем, фундаментальные исследования должны содержать хотя бы смутные доказательства практической пользы.

И у Вебера далее шли выкладки пользы в процентах экономии, в деньгах, то, что как раз не поддавалось никакому подсчету но польза чего была ясна как день, что было отработано, доведено до способа производства, выстрадано на отвесных скалах над Нарыном...

Она уже не пыталась вникать во все эти таблицы полезности, а думала только, что было бы здорово, если бы Вебер решился защищаться безо всего этого, По крайней мере, сразу было бы видно, с чем он пришёл...

Вебер что-то чертил, какой-то график, что-то в пределах оформления, она сказала, кивнув на чертеж:

– Ты бы сыновьям велел это сделать.

Он ждал, что она еще скажет, но брякнуть просто так пришедшее в голову она не могла.

И попросила:

– Дай мне это с собой на завтра, я почитаю.

Мираль стоял в дверях:

– Люся, ты разрешишь тебя проводить?

– А что, уже пора?

– Час ночи.

* * *

Они шли слабо освещенными улицами, ветер раскачивал редкие фонари, тени веток шарахались из под ног, шумела неслышная днём речка. У гостиницы Мираль остановился, не вынимая рук из карманов, сказал:

– Прости, но... тебе просили передать письмо. Поддубная просила.

Алиса в изумлении взяла протянутый конверт, в котором, чувствовалось, была открытка, оторвала узкую полоску пустого края, шагнула к крыльцу, поближе к свету.

«Здравствуй, Люся! Не удивляйся. Я слежу за твоим ростом, радуюсь ему. Очень прошу тебя приехать в Алма-Ату. Это и тебе нужно. Анжела».

Кровь ударила Алисе в лицо, она беспомощно оглянулась на стоящего в стороне Миралья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.